

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что на силу рассвело; в десяти шагах, вправо и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы; но более были наполнены отделения для третьего класса, и всё людом мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледно-желтые, под цвет тумана.

В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг против друга, у самого окна, два пассажира — оба люди молодые, оба почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет двадцати семи, курчавый и почти черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и сплюснут, лицо скулистое; тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку; но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вмес-

те с тем что-то страстное, до страдания, не гармонизировавшее с нахальной и грубою улыбкой и с резким, самодовольным его взглядом. Он был тепло одет, в широкий мерлушечий черный крытый тулуп, и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, к которой, очевидно, был не приготовлен. На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь как употребляют часто дорожные, по зимам, где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии или, например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при этом и на такие концы по дороге, как от Эйткунена до Петербурга. Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в России. Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досия иззябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого, полинялого фуляра, заключающий, кажется, всё его дорожное достояние. На ногах его были толстоподобные башмаки с штиблетами, — всё не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе всё это разглядел, частью от нечего делать, и наконец спросил с тою неделикатною усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего:

— Зябко?

И повел плечами.

— Очень, — ответил сосед с чрезвычайною готовностью, — и, заметьте, это еще оттепель. Что ж, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык.

— Из-за границы, что ль?

— Да, из Швейцарии.

— Фью! Эх ведь вас!..

Черноволосый присвистнул и захохотал.

Завязался разговор. Готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительная и без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и праздности иных вопросов. Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно долго не был в России, с лишком четыре года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни, вроде падучей или виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, черномазый несколько раз усмехался; особенно засмеялся он, когда на вопрос: «Что же, вылечили?» — белокурый отвечал, что «нет, не вылечили».

— Хе! Денег что, должно быть, даром переплатили, а мы-то им здесь верим, — язвительно заметил черномазый.

— Истинная правда! — ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто вроде закорюзлого в подьячестве чиновника, лет сорока, сильного сложения, с красным носом и угреватым лицом, — истинная правда-с, только все русские силы даром к себе переводят!

— О, как вы в моем случае ошибаетесь, — подхватил швейцарский пациент тихим и примиряющим голосом, — конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал да два почти года там на свой счет содержал.

— Что ж, некому платить, что ли, было? — спросил черномазый.

— Да, господин Павлищев, который меня там содержал, два года назад помер; я писал потом сюда генеральше Епанчиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал.

— Куда же приехали-то?

— То есть где остановлюсь?.. Да не знаю еще, право... так...

— Не решились еще?

И оба слушателя снова захохотали.

— И небось в этом узелке вся ваша суть заключается? — спросил черномазый.

— Об заклад готов биться, что так, — подхватил с чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник, — и что дальнейшей поклажи в багажных вагонах не имеется, хотя бедность и не порок, чего опять-таки нельзя не заметить.

Оказалось, что и это было так: белокурый молодой человек тотчас же и с необыкновенною поспешностью в этом признался.

— Узелок ваш все-таки имеет некоторое значение, — продолжал чиновник, когда нахохотались досыта (замечательно, что и сам обладатель узелка начал наконец смеяться, глядя на них, что увеличило их веселость), — и хотя можно побиться, что в нем не заключается золотых иностранных свертков с наполеондорами и фридрихсдорами, ниже с голландскими арапчиками, о чем можно еще заключить хотя бы только по штиблетам, облакающим иностранные башмаки ваши, но... если к вашему узелку прибавить в придачу такую будто бы родственницу, как, примерно, генеральша Епанчина, то и узелок примет некоторое иное значение, разумеется в том только случае, если генеральша Епанчина вам действительно родственница и вы не ошибаетесь, по рассеянности... что очень и очень свойственно человеку, ну хоть... от излишка воображения.

— О, вы угадали опять, — подхватил белокурый молодой человек, — ведь действительно почти ошибаюсь, то есть почти что не родственница; до того даже, что я, право, нисколько и не удивился тогда, что мне туда не ответили. Я так и ждал.

— Даром деньги на франкировку письма истратили. Гм... по крайней мере простодушны и искренны, а сие похвально! Гм... генерала же Епанчина знаем-с, собственно, потому, что человек общеизвестный; да и покойного господина Павлищева, который вас в Швейцарии содержал, тоже знавали-с, если только это был Николай Андреевич Павлищев, потому что их два двоюродные брата. Другой доселе в Крыму, а Николай Андреевич, покойник, был человек почтенный, и при связях, и четыре тысячи душ в свое время имели-с...

— Точно так, его звали Николай Андреевич Павлищев, — и, ответив, молодой человек пристально и пытливо оглядел господина всезнайку.

Эти господа всезнайки встречаются иногда, даже довольно часто, в известном общественном слое. Они всё знают, вся беспокойная пытливость их ума и способности устремляются неудержимо в одну сторону, конечно за отсутствием более важных жизненных интересов и взглядов,

как сказал бы современный мыслитель. Под словом «всё знают» нужно разуместь, впрочем, область довольно ограниченную: где служит такой-то, с кем он знаком, сколько у него состояния, где был губернатором, на ком женат, сколько взял за женой, кто ему двоюродным братом приходится, кто троюродным и т.д., и т.д., и всё в этом роде. Большею частию эти всезнайки ходят с ободранными локтями и получают по семнадцать рублей в месяц жалованья. Люди, о которых они знают всю подноготную, конечно, не придумали бы, какие интересы руководствуют ими, а между тем многие из них этим знанием, равняющимся целой науке, положительно утешены, достигают самоуважения и даже высшего духовного довольства. Да и наука соблазнительная. Я видал ученых, литераторов, поэтов, политических деятелей, обретавших и обретших в этой же науке свои высшие примирения и цели, даже положительно только этим сделавших карьеру. В продолжение всего этого разговора черномазый молодой человек зевал, смотрел без цели в окно и с нетерпением ждал конца путешествия. Он был как-то рассеян, что-то очень рассеян, чуть ли не встревожен, даже становился как-то странен: иной раз слушал и не слушал, глядел и не глядел, смеялся и подчас сам не знал и не понимал, чему смеялся.

— А позвольте, с кем имею честь... — обратился вдруг угреватый господин к белокурому молодому человеку с узелком.

— Князь Лев Николаевич Мышкин, — отвечал тот с полною и немедленною готовностью.

— Князь Мышкин? Лев Николаевич? Не знаю-с. Так что даже и не слыхивал-с, — отвечал в раздумье чиновник, — то есть я не об имени, имя историческое, в Карамзина «Истории» найти можно и должно, я об лице-с, да и князей Мышкиных уж что-то нигде не встречается, даже и слух затих-с.

— О, еще бы! — тотчас же ответил князь, — князей Мышкиных теперь и совсем нет, кроме меня; мне кажется, я последний. А что касается до отцов и дедов, то они у нас и однодворцами бывали. Отец мой был, впрочем, армии подпоручик, из юнкеров. Да вот не знаю, каким образом и генеральша Епанчина очутилась тоже из княжон Мышкиных, тоже последняя в своем роде...

— Хе-хе-хе! Последняя в своем роде! Хе-хе! Как это вы оборотили, — захихикал чиновник.

Усмехнулся тоже и черномазый. Белокурый несколько удивился, что ему удалось сказать, довольно, впрочем, плохой, каламбур.

— А представьте, я совсем не думая сказал, — пояснил он наконец в удивлении.

— Да уж понятно-с, понятно-с, — весело поддакнул чиновник.

— А что вы, князь, и наукам там обучались, у профессора-то? — спросил вдруг черномазый.

— Да... учился...

— А я вот ничему никогда не обучался.

— Да ведь и я так, кой-чему только, — прибавил князь, чуть не в извинение. — Меня по болезни не находили возможным систематически учить.

— Рогожиных знаете? — быстро спросил черномазый.

— Нет, не знаю, совсем. Я ведь в России очень мало кого знаю. Это вы-то Рогожин?

— Да, я, Рогожин, Парфен.

— Парфен? Да уж это не тех ли самых Рогожиных... — начал было с усиленною важностью чиновник.

— Да, тех, тех самых, — быстро и с невежливым нетерпением перебил его черномазый, который вовсе, впрочем, и не обращался ни разу к угреватому чиновнику, а с самого начала говорил только одному князю.

— Да... как же это? — удивился до столбняка и чуть не выпучил глаза чиновник, у которого всё лицо тотчас же стало складываться во что-то благоговейное и подобострастное, даже испуганное, — это того самого Семена Парфеновича Рогожина, потомственного почетного гражданина, что с месяц назад тому помере и два с половиной миллиона капитала оставил?

— А ты откуда узнал, что он два с половиной миллиона чистого капитала оставил? — перебил черномазый, не удостоивая и в этот раз взглянуть на чиновника. — Ишь ведь! (мигнул он на него князю) и что только им от этого толку, что они прихвостнями тотчас же лезут? А это правда, что вот родитель мой помер, а я из Пскова через месяц чуть не без сапог домой еду. Ни брат, подлец, ни мать ни денег, ни уведомления — ничего не прислали! Как собаке! В горлячке в Пскове весь месяц пролежал.

— А теперь миллиончик с лишком разом получить приходится, и это по крайней мере, о Господи! — всплеснул руками чиновник.

— Ну чего ему, скажите, пожалуйста! — раздражительно и злобно кивнул на него опять Рогожин, — ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут вверх ногами предо мной ходи.

— И буду, и буду ходить.

— Вишь! Да ведь не дам, не дам, хошь целую неделю пляши!

— И не давай! Так мне и надо; не давай! А я буду плясать. Жену, детей малых брошу, а пред тобой буду плясать. Польсти, польсти!

— Тьфу тебя! — сплюнул черномазый. — Пять недель назад я вот, как и вы, — обратился он к князю, — с одним узелком от родителя во Псков убог, к тетке; да в горячке там и слег, а он без меня и помре. Кондрашка пришиб. Вечная память покойнику, а чуть меня тогда до смерти не убил! Верите ли, князь, вот ей-богу! Не убеги я тогда, как раз бы убил.

— Вы его чем-нибудь рассердили? — отозвался князь, с некоторым особенным любопытством рассматривая миллионера в тулупе. Но хотя и могло быть нечто достопримечательное собственно в миллионе и в получении наследства, князя удивило и заинтересовало и еще что-то другое; да и Рогожин сам почему-то особенно охотно взял князя в свои собеседники, хотя в собеседничестве нуждался, казалось, более механически, чем нравственно; как-то более от рассеянности, чем от простосердечия; от тревоги, от волнения, чтобы только глядеть на кого-нибудь и о чем-нибудь языком колотить. Казалось, что он до сих пор в горячке, и уж по крайней мере в лихорадке. Что же касается до чиновника, так тот так и повис над Рогожиным, дыхнуть не смел, ловил и взвешивал каждое слово, точно бриллианта искал.

— Рассердился-то он рассердился, да, может, и стоило, — отвечал Рогожин, — но меня пуще всего брат доехал. Про матушку нечего сказать, женщина старая, Четьи-Миней читает, со старухами сидит, и что Сенька-брат порешит, так тому и быть. А он что же мне знать-то в свое время не дал? Понимаем-с! Оно правда, я тогда без памяти был. Тоже, говорят, телеграмма была пущена. Да телеграмма-то

к тетке и приди. А она там тридцатый год вдовствует и всё с юродивыми сидит с утра до ночи. Монашенка не монашенка, а еще пуще того. Телеграммы-то она испужалась да, не распечатывая, в часть и представила, так она там и залегла до сих пор. Только Конев, Василий Васильич, выручил, всё отписал. С покрова парчового на гробе родителя, ночью, брат кисти литые, золотые, обрезал: «Они, дескать, эвона каких денег стоят». Да ведь он за это одно в Сибирь пойти может, если я захочу, потому оно есть святотатство. Эй ты, пугало гороховое! — обратился он к чиновнику. — Как по закону: святотатство?

— Святотатство! Святотатство! — тотчас же поддакнул чиновник.

— За это в Сибирь?

— В Сибирь, в Сибирь! Тотчас в Сибирь!

— Они всё думают, что я еще болен, — продолжал Рогожин князю, — а я, ни слова не говоря, потихоньку, еще больной, сел в вагон да и еду: отворяй ворота, братец Семен Семеныч! Он родителю покойному на меня наговаривал, я знаю. А что я действительно чрез Настасью Филипповну тогда родителя раздражил, так это правда. Тут уж я один. Попутал грех.

— Чрез Настасью Филипповну? — подобострастно промолвил чиновник, как бы что-то сообщая.

— Да ведь не знаешь! — крикнул на него в нетерпении Рогожин.

— Ан и знаю! — победоносно отвечал чиновник.

— Эвона! Да мало ль Настасий Филипповн! И какая ты наглая, я тебе скажу, тварь! Ну, вот так и знал, что какая-нибудь вот этакая тварь так тотчас же и повиснет! — продолжал он князю.

— Ан, может, и знаю-с! — тормозился чиновник. — Лебедев знает! Вы, ваша светлость, меня укорять изволите, а что коли я докажу? Ан та самая Настасья Филипповна и есть, чрез которую ваш родитель вам внушить пожелал калиновым посохом, а Настасья Филипповна есть Барашкова, так сказать даже знатная барыня, и тоже в своем роде княжна, а знает с неким Тоцким, с Афанасием Ивановичем, с одним исключительно, помещиком и раскапиталистом, членом компаний и обществ, и большую дружбу на этот счет с генералом Епанчиным ведущие...

— Эге, да ты вот что! — действительно удивился наконец Рогожин. — Тьфу, черт, да ведь он и впрямь знает.

— Всё знает! Лебедев всё знает! Я, ваша светлость, и с Лихачевым Алексашкой два месяца ездил, и тоже после смерти родителя, и все, то есть все углы и проулки знаю, и без Лебедева, дошло до того, что ни шагу. Ныне он в долговом отделении присутствует, а тогда и Арманс, и Коралию, и княгиню Пацкую, и Настасью Филипповну имел случай узнать, да и много чего имел случай узнать.

— Настасью Филипповну? А разве она с Лихачевым... — злобно посмотрел на него Рогожин, даже губы его побледнели и задрожали.

— Н-ничего! Н-н-ничего! Как есть ничего! — спохватился и заторопился поскорее чиновник, — н-никакими то есть деньгами Лихачев доехать не мог! Нет, это не то что Арманс. Тут один Тоцкий. Да вечером в Большом али во Французском театре в своей собственной ложе сидит. Офицеры там мало ли что промеж себя говорят, а и те ничего не могут доказать: «вот, дескать, это есть та самая Настасья Филипповна», да и только; а насчет дальнейшего — ничего! Потому что и нет ничего.

— Это вот всё так и есть, — мрачно и насупившись подтвердил Рогожин, — тоже мне и Залёжев тогда говорил. Я тогда, князь, в третьегодняшней отцовской бекеше через Невский перебегал, а она из магазина выходит, в карету садится. Так меня тут и прожгло. Встречаю Залёжева, тот не мне чета, ходит как приказчик от парикмахера, и лорнет в глазу, а мы у родителя в смазных сапогах да на постных щах отличались. Это, говорит, не тебе чета, это, говорит, княгиня, а зовут ее Настасьей Филипповной, фамилией Барашкова, и живет с Тоцким, а Тоцкий от нее как отвязаться теперь не знает, потому совсем то есть лет достиг настоящих, пятидесяти пяти, и жениться на первойшей красавице во всем Петербурге хочет. Тут он мне и внушил, что сегодня же можешь Настасью Филипповну в Большом театре видеть, в балете, в ложе своей, в бенеуаре, будет сидеть. У нас, у родителя, попробуй-ка в балет сходить, — одна расправа, убьет! Я, однако же, на час втихомолку сбегал и Настасью Филипповну опять видел; всю ту ночь не спал. Наутро покойник дает мне два пятипроцентные билета, по пяти тысяч каждый, сходи, дескать, да продай, да семь тысяч пятьсот к Андреевым на

контору снеси, уплати, а остальную сдачу с десяти тысяч, не заходя никуда, мне представь; буду тебя дожидаться. Билеты-то я продал, деньги взял, а к Андреевым в контору не заходил, а пошел, никуда не глядя, в английский магазин да на все пару подвесок и выбрал, по одному бриллиантику в каждой, этак почти как по ореху будут, четыреста рублей должен остался, имя сказал, поверили. С подвесками я к Залёжеву: так и так, идем, брат, к Настасье Филипповне. Отправились. Что у меня тогда под ногами, что предо мною, что по бокам — ничего я этого не знаю и не помню. Прямо к ней в залу вошли, сама вышла к нам. Я то есть тогда не сказался, что это я самый и есть; а «от Парфена, дескать, Рогожина, — говорит Залёжев, — вам в память встречи вчерашнего дня; соблаговолите принять». Раскрыла, взглянула, усмехнулась: «Благодарите, говорит, вашего друга господина Рогожина за его любезное внимание», — откланялась и ушла. Ну, вот зачем я тут не помер тогда же! Да если и пошел, так потому, что думал: «Всё равно, живой не вернусь!» А обиднее всего мне то показалось, что этот бестия Залёжев всё на себя присвоил. Я и ростом мал, и одет как холуй, и стою, молчу, на нее глаза пялю, потому стыдно, а он по всей моде, в помаде и завитой, румяный, галстух клетчатый, — так и рассыпается, так и расшаркивается, и уж наверно она его тут вместо меня приняла! «Ну, говорю, как мы вышли, ты у меня теперь тут не смей и подумать, понимаешь!» Смеется: «А вот как-то ты теперь Семену Парфенычу отчет отдавать будешь?» Я, правда, хотел было тогда же в воду, домой не заходя, да думаю: «Ведь уж всё равно», — и как окаянный воротился домой.

— Эх! Ух! — кривился чиновник, и даже дрожь его пробирала, — а ведь покойник не то что за десять тысяч, а за десять целковых на тот свет сживывал, — кивнул он князю. Князь с любопытством рассматривал Рогожина; казалось, тот был еще бледнее в эту минуту.

— «Сживывал!» — переговорил Рогожин. — Ты что знаешь? Тотчас, — продолжал он князю, — про всё узнал, да и Залёжев каждому встречному пошел болтать. Взял меня родитель, и наверху запер, и целый час поучал. «Это я только, говорит, предуготовляю тебя, а вот я с тобой еще на ночь попрощаться зайду». Что ж ты думаешь? Поехал седой к Настасье Филипповне, земно ей кланялся, умолял и плакал; вынесла она ему наконец коробку, шваркнула:

«Вот, говорит, тебе, старая борода, твои серьги, а они мне теперь в десять раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их Парфен добывал. Кланяйся, говорит, и благодари Парфена Семеныча». Ну, а я этой порой, по матушкину благословиению, у Сережки Протушина двадцать рублей достал да во Псков по машине и отправился, да приехал-то в лихорадке; меня там святыми зачитывать старухи принялись, а я пьян сижу, да пошел потом по кабакам на последние, да в бесчувствии всю ночь на улице и провалялся, ан к утру горячка, а тем временем за ночь еще сабаки обгрызли. Насилу очнулся.

— Ну-с, ну-с, теперь запоем у нас Настасья Филипповна! — потирая руки, хихикал чиновник, — теперь, сударь, что подвески! Теперь мы такие подвески вознаградим...

— А то, что если ты хоть раз про Настасью Филипповну какое слово молвишь, то, вот тебе Бог, тебя высеку, даром что ты с Лихачевым ездил, — вскрикнул Рогожин, крепко схватив его за руку.

— А коли высечешь, значит, и не отвергнешь! Секи! Высек, и тем самым запечатлел... А вот и приехали!

Действительно, въезжали в воксал. Хотя Рогожин и говорил, что он уехал тихонько, но его уже поджидали несколько человек. Они кричали и махали ему шапками.

— Ишь, и Залёжев тут! — пробормотал Рогожин, смотря на них с торжествующею и даже как бы злобною улыбкой, и вдруг оборотился к князю. — Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил. Может, оттого, что в эту минуту встретил, да вот ведь и его встретил (он указал на Лебедева), а ведь не полюбил же его. Приходи ко мне, князь. Мы эти штиблетишки-то с тебя поснимаем, одену тебя в кунью шубу в первейшую, фрак тебе сошью первейший, жилетку белую али какую хошь, денег полны карманы набью, и... поедем к Настасье Филипповне! Придешь али нет?

— Внимайте, князь Лев Николаевич! — внушительно и торжественно подхватил Лебедев. — Ой, не упускайте! Ой, не упускайте!..

Князь Мышкин привстал, вежливо протянул Рогожину руку и любезно сказал ему:

— С величайшим удовольствием приду и очень вас благодарю за то, что вы меня полюбили. Даже, может быть, сегодня же приду, если успею. Потому, я вам скажу откро-

венно, вы мне сами очень понравились, и особенно когда про подвески бриллиантовые рассказывали. Даже и прежде подвесок понравились, хотя у вас и сумрачное лицо. Благодарю вас тоже за обещанные мне платья и за шубу, потому мне действительно платье и шуба скоро понадобятся. Денег же у меня в настоящую минуту почти ни копейки нет.

— Деньги будут, к вечеру будут, приходи!

— Будут, будут, — подхватил чиновник, — к вечеру, до зари еще, будут!

— А до женского пола вы, князь, охотник большой? Сказывайте раньше!

— Я, н-н-нет! Я ведь... Вы, может быть, не знаете, я ведь по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю.

— Ну коли так, — воскликнул Рогожин, — совсем ты, князь, выходишь юродивый, и таких, как ты, Бог любит!

— И таких Господь Бог любит, — подхватил чиновник.

— А ты ступай за мной, строка, — сказал Рогожин Лебедеву, и все вышли из вагона.

Лебедев кончил тем, что достиг своего. Скоро шумная ватага удалась по направлению к Вознесенскому проспекту. Князю надо было повернуть к Литейной. Было сыро и мокро; князь расспросил прохожих, — до конца предстоявшего ему пути выходило версты три, и он решился взять извозчика.

II

Генерал Епанчин жил в собственном своем доме, несколько в стороне от Литейной, к Спасу Преображения. Кроме этого (превосходного) дома, пять шестых которого отдавались внаем, генерал Епанчин имел еще огромный дом на Садовой, приносивший тоже чрезвычайный доход. Кроме этих двух домов, у него было под самым Петербургом весьма выгодное и значительное поместье; была еще в Петербургском уезде какая-то фабрика. В старину генерал Епанчин, как всем известно было, участвовал в откупках. Ныне он участвовал и имел весьма значительный голос в некоторых солидных акционерных компаниях. Слыл он человеком с большими деньгами, с большими занятиями и с большими связями. В иных местах он сумел сделаться

совершенно необходимым, между прочим и на своей службе. А между тем известно тоже было, что Иван Федорович Епанчин — человек без образования и происходит из солдатских детей; последнее, без сомнения, только к чести его могло относиться, но генерал, хоть и умный был человек, был тоже не без маленьких, весьма простительных слабостей и не любил иных намеков. Но умный и ловкий человек он был бесспорно. Он, например, имел систему не выставяться, где надо — стушевываться, и его многие ценили именно за его простоту, именно за то, что он знал всегда свое место. А между тем, если бы только ведали эти судьи, что происходило иногда на душе у Ивана Федоровича, так хорошо знавшего свое место! Хоть и действительно он имел и практику, и опыт в житейских делах, и некоторые очень замечательные способности, но он любил выставять себя более исполнителем чужой идеи, чем с своим царем в голове, человеком «без лести преданным», и — куда нейдет век? — даже русским и сердечным. В последнем отношении с ним приключилось даже несколько забавных анекдотов; но генерал никогда не унывал, даже и при самых забавных анекдотах; к тому же и везло ему, даже в картах, а он играл по чрезвычайно большой и даже с намерением не только не хотел скрывать эту свою маленькую будто бы слабость к картишкам, так существенно и во многих случаях ему пригождавшуюся, но и выставлял ее. Общества он был смешанного, разумеется во всяком случае «тузового». Но всё было впереди, время терпело, время всё терпело, и всё должно было прийти со временем и своим чередом. Да и летами генерал Епанчин был еще, как говорится, в самом соку, то есть пятидесяти шести лет и никак не более, что во всяком случае составляет возраст цветущий, возраст, с которого, по-настоящему, начинается *истинная* жизнь. Здоровье, цвет лица, крепкие, хотя и черные, зубы, коренастое, плотное сложение, озабоченное выражение физиономии поутру на службе, веселое ввечеру за картами или у его сиятельства — всё способствовало настоящим и грядущим успехам и устилало жизнь его превосходительства розами.

Генерал обладал цветущим семейством. Правда, тут уже не всё были розы, но было зато и много такого, на чем давно уже начали серьезно и сердечно сосредоточиваться главнейшие надежды и цели его превосходительства. Да и

что, какая цель в жизни важнее и святее целей родительских? К чему прикрепиться, как не к семейству? Семейство генерала состояло из супруги и трех взрослых дочерей. Женился генерал еще очень давно, еще будучи в чине поручика, на девице почти одного с ним возраста, не обладавшей ни красотой, ни образованием, за которую он взял всего только пятьдесят душ, — правда, и послуживших к основанию его дальнейшей фортуны. Но генерал никогда не роптал впоследствии на свой ранний брак, никогда не третировал его как увлечение нерасчетливой юности и супругу свою до того уважал и до того иногда боялся ее, что даже любил. Генеральша была из княжеского рода Мышкиных, рода хотя и не блестящего, но весьма древнего, и за свое происхождение весьма уважала себя. Некто из тогдашних влиятельных лиц, один из тех покровителей, которым покровительство, впрочем, ничего не стоит, согласился заинтересоваться браком молодой княжны. Он отворил калитку молодому офицеру и толкнул его в ход, а тому даже и не толчка, а только разве одного взгляда надо было — не пропал бы даром! За немногими исключениями, супруги прожили всё время своего долгого юбилея согласно. Еще в очень молодых годах своих генеральша умела найти себе, как урожденная княжна и последняя в роде, а может быть и по личным качествам, некоторых очень высоких покровительниц. Впоследствии, при богатстве и служебном значении своего супруга, она начала в этом высшем кругу даже несколько и осваиваться.

В эти последние годы подросли и созрели все три генеральские дочери — Александра, Аделаида и Аглая. Правда, все три были только Епанчины, но по матери роду княжеского, с приданным немалым, с родителем, претендующим впоследствии, может быть, и на очень высокое место, и, что тоже довольно важно, — все три были замечательно хороши собой, не исключая и старшей, Александры, которой уже минуло двадцать пять лет. Средней было двадцать три года, а младшей, Аглае, только что исполнилось двадцать. Эта младшая была даже совсем красавица и начинала в свете обращать на себя большое внимание. Но и это было еще не всё: все три отличались образованием, умом и талантами. Известно было, что они замечательно любили друг друга и одна другую поддерживали. Упоминалось даже о каких-то будто бы пожертвова-

ниях двух старших в пользу общего домашнего идола — младшей. В обществе они не только не любили выстав- ляться, но даже были слишком скромны. Никто не мог их упрекнуть в высокомерии и заносчивости, а между тем знали, что они горды и цену себе понимают. Старшая была музыкантша, средняя была замечательный живописец; но об этом почти никто не знал многие годы, и обнару- жилось это только в самое последнее время, да и то неча- янно. Одним словом, про них говорилось чрезвычайно много похвального. Но были и недоброжелатели. С ужасом гово- рилось о том, сколько книг они прочитали. Замуж они не торопились; известным кругом общества хотя и дорожили, но всё же не очень. Это тем более было замечательно, что все знали направление, характер, цели и желания их ро- дителя.

Было уже около одиннадцати часов, когда князь позво- нил в квартиру генерала. Генерал жил во втором этаже и занимал помещение по возможности скромное, хотя и про- порциональное своему значению. Князю отворил ливрей- ный слуга, и ему долго нужно было объясняться с этим человеком, с самого начала посмотревшим на него и на его узелок подозрительно. Наконец на неоднократное и точное заявление, что он действительно князь Мышкин и что ему непременно надо видеть генерала по делу необхо- димому, недоумевающий человек препроводил его рядом, в маленькую переднюю, перед самою приемной, у каби- нета, и сдал его с рук на руки другому человеку, дежурив- шему по утрам в этой передней и докладывавшему гене- ралу о посетителях. Этот другой человек был во фраке, имел за сорок лет и озабоченную физиономию и был спе- циальный, кабинетный прислужник и докладчик его пре- восходительства, вследствие чего и знал себе цену.

— Подождите в приемной, а узелок здесь оставьте, — проговорил он, неторопливо и важно усаживаясь в свое кресло и с строгим удивлением посматривая на князя, рас- положившегося тут же рядом подле него на стуле, с своим узелком в руках.

— Если позволите, — сказал князь, — я бы подождал лучше здесь с вами, а там что ж мне одному?

— В передней вам не стать, потому вы посетитель, ина- че гость. Вам к самому генералу?

Лакей, видимо, не мог примириться с мыслью впустить такого посетителя и еще раз решил спросить его.

— Да, у меня дело... — начал было князь.

— Я вас не спрашиваю, какое именно дело, — мое дело только об вас доложить. А без секретаря, я сказал, докладывать о вас не пойду.

Подозрительность этого человека, казалось, всё более и более увеличивалась; слишком уж князь не подходил под разряд вседневных посетителей, и хотя генералу довольно часто, чуть не ежедневно, в известный час приходилось принимать, особенно по *делам*, иногда даже очень разнообразных гостей, но, несмотря на привычку и инструкцию, довольно широкую, камердинер был в большом сомнении; посредничество секретаря для доклада было необходимо.

— Да вы точно... из-за границы? — как-то невольно спросил он наконец — и сбился; он хотел, может быть, спросить: «Да вы точно князь Мышкин?»

— Да, сейчас только из вагона. Мне кажется, вы хотели спросить: точно ли я князь Мышкин? да не спросили из вежливости.

— Гм... — промычал удивленный лакей.

— Уверяю вас, что я не солгал вам, и вы отвечать за меня не будете. А что я в таком виде и с узелком, то тут удивляться нечего: в настоящее время мои обстоятельства неказисты.

— Гм. Я опасаюсь не того, видите ли. Доложить я обязан, и к вам выйдет секретарь, окромя если вы... Вот то-то вот и есть, что окромя. Вы не по бедности просить к генералу, осмелюсь, если можно, узнать?

— О нет, в этом будьте совершенно удостоверены. У меня другое дело.

— Вы меня извините, а я на вас глядя спросил. Подождите секретаря; сам теперь занят с полковником, а затем придет и секретарь... компанейский.

— Стало быть, если долго ждать, то я бы вас попросил: нельзя ли здесь где-нибудь покурить? У меня трубка и табак с собой.

— По-ку-рить? — с презрительным недоумением вскинул на него глаза камердинер, как бы всё еще не веря ушам, — покурить? Нет, здесь вам нельзя покурить, а к тому же вам стыдно и в мыслях это содержать. Хе... чудно-с!

— О, я ведь не в этой комнате просил; я ведь знаю; а я бы вышел куда-нибудь, где бы вы указали, потому я при-
вык, а вот уж часа три не курил. Впрочем, как вам угодно,
и, знаете, есть пословица: в чужой монастырь...

— Ну как я об вас об таком доложу? — пробормотал почти невольно камердинер. — Первое то, что вам здесь и находиться не следует, а в приемной сидеть, потому вы сами на линии посетителя, иначе гость, и с меня спросит-
ся... Да вы что же, у нас жить, что ли, намерены? — прибавил он, еще раз наклонившись на узелок князя, очевидно не дававший ему покоя.

— Нет, не думаю. Даже если б и пригласили, так не останусь. Я просто познакомиться только приехал, и больше ничего.

— Как? Познакомиться? — с удивлением и с утроенною подозрительностью спросил камердинер. — Как же вы сказали сперва, что по делу?

— О, почти не по делу! То есть, если хотите, и есть одно дело, так, только совета спросить, но я, главное, чтоб от-
рекомендоваться, потому я князь Мышкин, а генеральша Епанчина тоже последняя из княжон Мышкиных, и, кроме меня с нею, Мышкиных больше и нет.

— Так вы еще и родственник? — встрепенулся уже почти совсем испуганный лакей.

— И это почти что нет. Впрочем, если натягивать, конечно, родственники, но до того отдаленные, что, по-настоящему, и считаться даже нельзя. Я раз обращался к генеральше из-за границы с письмом, но она мне не ответила. Я все-таки почел нужным завязать сношения по возвращении. Вам же всё это теперь объясняю, чтобы вы не сомневались, потому вижу, вы всё еще беспокоитесь: доложите, что князь Мышкин, и уж в самом докладе причина моего посещения видна будет. Примут — хорошо, не примут — тоже, может быть, очень хорошо. Только не могут, кажется, не принять: генеральша, уж конечно, захочет видеть старшего и единственного представителя своего рода, а она породу свою очень ценит, как я об ней в точности слышал.

Казалось бы, разговор князя был самый простой; но чем он был проще, тем и становился в настоящем случае нелепее, и опытный камердинер не мог не почувствовать что-то, что совершенно прилично человеку с человеком и

совершенно неприлично гостю с *человеком*. А так как *люди* гораздо умнее, чем обыкновенно думают про них их господа, то и камердинеру зашло в голову, что тут два дела: или князь так, какой-нибудь потаскун и непременно пришел на бедность просить, или князь просто дурачок и амбиции не имеет, потому что умный князь и с амбицией не стал бы в передней сидеть и с лакеем про свои дела говорить, а стало быть, и в том и в другом случае не пришлось бы за него отвечать?

— А все-таки вам в приемную бы пожаловать, — заметил он по возможности настойчивее.

— Да вот сидел бы там, так вам бы всего и не объяснил, — весело засмеялся князь, — а, стало быть, вы всё еще беспокоились бы, глядя на мой плащ и узелок. А теперь вам, может, и секретаря ждать нечего, а пойти бы и доложить самим.

— Я посетителя такого, как вы, без секретаря доложить не могу, а к тому же и сами, особливо давеча, заказали их не тревожить ни для кого, пока там полковник, а Гаврила Ардалионыч без доклада идет.

— Чиновник-то?

— Гаврила-то Ардалионыч? Нет. Он в Компании от себя служит. Узелок-то постановьте хоть вон сюда.

— Я уж об этом думал; если позволите. И, знаете, сниму я и плащ?

— Конечно, не в плаще же входить к нему.

Князь встал, поспешно снял с себя плащ и остался в довольно приличном и ловко сшитом, хотя и поношенном уже пиджаке. По жилету шла стальная цепочка. На цепочке оказались женевские серебряные часы.

Хотя князь был и дурачок, — лакей уж это решил, — но все-таки генеральскому камердинеру показалось наконец неприличным продолжать долее разговор от себя с посетителем, несмотря на то что князь ему почему-то нравился, в своем роде конечно. Но, с другой точки зрения, он возбуждал в нем решительное и грубое негодование.

— А генеральша когда принимает? — спросил князь, усаживаясь опять на прежнее место.

— Это уж не мое дело-с. Принимают розно, судя по лицу. Модистку и в одиннадцать допустит. Гаврилу Ардалионыча тоже раньше других допускают, даже к раннему завтраку допускают.

— Здесь у вас в комнатах теплее, чем за границей зимой, — заметил князь, — а вот там зато на улицах теплее нашего, а в домах зимой — так русскому человеку и жить с непривычки нельзя.

— Не топят?

— Да, да и дома устроены иначе, то есть печи и окна.

— Гм! А долго вы изволили ездить?

— Да четыре года. Впрочем, я всё на одном почти месте сидел, в деревне.

— Отвыкли от нашего-то?

— И это правда. Верите ли, дивлюсь на себя, как говорить по-русски не забыл. Вот с вами говорю теперь, а сам думаю: «А ведь я хорошо говорю». Я, может, потому так много и говорю. Право, со вчерашнего дня всё говорить по-русски хочется.

— Гм! Хе! В Петербурге-то прежде жилали? (Как ни крепился лакей, а невозможно было не поддержать такой учтивый и вежливый разговор.)

— В Петербурге? Совсем почти нет, так, только проездом. И прежде ничего здесь не знал, а теперь столько, слышно, нового, что, говорят, кто и знал-то, так сызнавать переучивается. Здесь про суды теперь много говорят.

— Гм!.. Суды. Суды-то оно правда, что суды. А что, как там, справедливее в суде или нет?

— Не знаю. Я про наши много хорошего слышал. Вот, опять, у нас смертной казни нет.

— А там казнят?

— Да. Я во Франции видел, в Лионе. Меня туда Шнейдер с собою брал.

— Вешают?

— Нет, во Франции всё головы рубят.

— Что же, кричит?

— Куды! В одно мгновение. Человека кладут, и падает этакий широкий нож, по машине, гильотиной называется, тяжело, сильно... Голова отскочит так, что и глазом не успеешь мигнуть. Приготовления тяжелы. Вот когда объявляют приговор, снаряжают, вяжут, на эшафот взводят, вот тут ужасно! Народ сбегается, даже женщины, хоть там и не любят, чтобы женщины глядели.

— Не их дело.

— Конечно! Конечно! Этакую муку!.. Преступник был человек умный, бесстрашный, сильный, в летах, Легро по фамилии. Ну вот, я вам говорю, верьте не верьте, на эшафот всходил — плакал, белый как бумага. Разве это возможно? Разве не ужас? Ну кто же со страху плачет? Я и не думал, чтоб от страху можно было заплакать не ребенку, человеку, который никогда не плакал, человеку в сорок пять лет. Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят? Надругательство над душой, больше ничего! Сказано: «Не убий», так за то, что он убил, и его убивать? Нет, это нельзя. Вот я уж месяц назад это видел, а до сих пор у меня как пред глазами. Раз пять снилось.

Князь даже одушевился говоря, легкая краска проступила в его бледное лицо, хотя речь его по-прежнему была тихая. Камердинер с сочувствующим интересом следил за ним, так что оторваться, кажется, не хотелось; может быть, тоже был человек с воображением и попыткой на мысль.

— Хорошо еще вот, что муки немного, — заметил он, — когда голова отлетает.

— Знаете ли что? — горячо подхватил князь. — Вот вы это заметили, и это все точно так же замечают, как вы, и машина для того выдумана, гильотина. А мне тогда же пришла в голову одна мысль: а что, если это даже и хуже? Вам это смешно, вам это дико кажется, а при некотором воображении даже и такая мысль в голову вскочит. Подумайте: если, например, пытка; при этом страдания и раны, мука телесная, и, стало быть, всё это от душевного страдания отвлекает, так что одними только ранами и мучаешься, вплоть пока умрешь. А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот что вот знаешь наверно, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас — душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что *наверно*. Вот как голову кладешь под самый нож и слышишь, как он склизнет над головой, вот эти-то четверть секунды всего и страшнее. Знаете ли, что это не моя фантазия, а что так многие говорили? Я до того этому верю, что прямо вам скажу мое мнение. Убивать за убийство несоразмерно большее наказание, чем самое преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу, или как-нибудь, непременно еще на-

деется, что спасется, до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он еще надеется, или бежит, или просит. А тут всю эту последнюю надежду, с которою умирать в десять раз легче, отнимают *наверно*; тут приговор, и в том, что наверно не избежешь, вся ужасная-то мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете. Приведите и поставьте солдата против самой пушки на сражении и стреляйте в него, он еще всё будет надеяться, но прочтите этому самому солдату приговор *наверно*, и он с ума сойдет или заплачет. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: «Ступай, тебя прощают». Вот этакой человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать!

Камердинер хотя и не мог бы так выразить всё это, как князь, но, конечно, хотя не всё, но главное понял, что видно было даже по умилившемуся лицу его.

— Если уж так вам желательно, — промолвил он, — покурить, то оно, пожалуй, и можно, коли только поскорее. Потому вдруг спросит, а вас и нет. Вот тут под лесенкой, видите, дверь. В дверь войдете, направо каморка: там можно, только форточку растворите, потому оно не порядок...

Но князь не успел сходить покурить. В переднюю вдруг вошел молодой человек с бумагами в руках. Камердинер стал снимать с него шубу. Молодой человек скосил глаза на князя.

— Это, Гаврила Ардалионыч, — начал конфиденциально и почти фамильярно камердинер, — докладываются, что князь Мышкин и барыни родственник, приехал с поездом из-за границы, и узелок в руке, только...

Дальнейшего князь не услышал, потому что камердинер начал шептать. Гаврила Ардалионович слушал внимательно и поглядывал на князя с большим любопытством, наконец перестал слушать и нетерпеливо приблизился к нему.

— Вы князь Мышкин? — спросил он чрезвычайно любезно и вежливо. Это был очень красивый молодой человек, тоже лет двадцати восьми, стройный блондин, сред-

не-высокого роста, с маленькою, наполеоновскою бородкой, с умным и очень красивым лицом. Только улыбка его, при всей ее любезности, была что-то уж слишком тонка; зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно-ровно; взгляд, несмотря на всю веселость и видимое простодушие его, был что-то уж слишком пристален и испытующ.

«Он, должно быть, когда один, совсем не так смотрит и, может быть, никогда не смеется», — почувствовалось как-то князю.

Князь объяснил всё, что мог, наскоро, почти то же самое, что уже прежде объяснял камердинеру и еще прежде Рогожину. Гаврила Ардалионович меж тем как будто что-то припоминал.

— Не вы ли, — спросил он, — изволили с год назад или даже ближе прислать письмо, кажется из Швейцарии, к Елизавете Прокофьевне?

— Точно так.

— Так вас здесь знают и наверно помнят. Вы к его превосходительству? Сейчас я доложу... Он сейчас будет свободен. Только вы бы... вам бы пожаловать пока в приемную... Зачем они здесь? — строго обратился он к камердинеру.

— Говорю, сами не захотели...

В это время вдруг отворилась дверь из кабинета и какой-то военный, с портфелем в руке, громко говоря и откланиваясь, вышел оттуда.

— Ты здесь, Ганя? — крикнул голос из кабинета, — а пожалуй-ка сюда!

Гаврила Ардалионович кивнул головой князю и поспешно прошел в кабинет.

Минуты через две дверь отворилась снова и послышался звонкий и приветливый голос Гаврилы Ардалионовича:

— Князь, пожалуйста!

III

Генерал, Иван Федорович Епанчин, стоял посреди своего кабинета и с чрезвычайным любопытством смотрел на входящего князя, даже шагнул к нему два шага. Князь подошел и отрекомендовался.

— Так-с, — отвечал генерал, — чем же могу служить?

— Дела неотлагательного я никакого не имею; цель моя была просто познакомиться с вами. Не желал бы беспокоить, так как я не знаю ни вашего дня, ни ваших распоряжений... Но я только что сам из вагона... приехал из Швейцарии...

Генерал чуть-чуть было усмехнулся, но подумал и приостановился; потом еще подумал, прищурился, оглядел еще раз своего гостя с ног до головы, затем быстро указал ему стул, сам сел несколько наискось и в нетерпеливом ожидании повернулся к князю. Ганя стоял в углу кабинета, у бюро, и разбирал бумаги.

— Для знакомств вообще я мало времени имею, — сказал генерал, — но так как вы, конечно, имеете свою цель, то...

— Я так и предчувствовал, — перебил князь, — что вы непременно увидите в посещении моем какую-нибудь особенную цель. Но, ей-богу, кроме удовольствия познакомиться, у меня нет никакой частной цели.

— Удовольствие, конечно, и для меня чрезвычайное, но не всё же забавы, иногда, знаете, случаются и дела... Притом же я никак не могу до сих пор разглядеть между нами общего... так сказать, причины...

— Причины нет, бесспорно, и общего, конечно, мало. Потому что если я князь Мышкин и ваша супруга из нашего рода, то это, разумеется, не причина. Я это очень понимаю. Но, однако ж, весь-то мой повод в этом только и заключается. Я года четыре в России не был, с лишком; да и что я выехал: почти не в своем уме! И тогда ничего не знал, а теперь еще пуще. В людях хороших нуждаюсь; даже вот и дело одно имею и не знаю, куда сунуться. Еще в Берлине подумал: «Это почти родственники, начну с них; может быть, мы друг другу и пригодимся, они мне, я им, — если они люди хорошие». А я слышал, что вы люди хорошие.

— Очень благодарен-с, — удивлялся генерал, — позвольте узнать, где остановились?

— Я еще нигде не остановился.

— Значит, прямо из вагона ко мне? И... с поклажей?

— Да со мной поклажи всего один маленький узелок с бельем, и больше ничего; я его в руке обыкновенно несус. Я номер успею и вечером занять.

— Так вы всё еще имеете намерение номер занять?

— О да, конечно.

— Судя по вашим словам, я было подумал, что вы уж так прямо ко мне.

— Это могло быть, но не иначе как по вашему приглашению. Я же, признаюсь, не остался бы и по приглашению, не почему-либо, а так... по характеру.

— Ну, стало быть, и кстати, что я вас не пригласил и не приглашаю. Позвольте еще, князь, чтоб уж разом всё разъяснить: так как вот мы сейчас договорились, что на-счет родственности между нами и слова не может быть, — хотя мне, разумеется, весьма было бы лестно, — то, стало быть...

— То, стало быть, вставать и уходить? — приподнялся князь, как-то даже весело рассмеявшись, несмотря на всю видимую затруднительность своих обстоятельств. — И вот, ей-богу же, генерал, хоть я ровно ничего не знаю практически ни в здешних обычаях, ни вообще как здесь люди живут, но так я и думал, что у нас непременно именно это и выйдет, как теперь вышло. Что ж, может быть, оно так и надо... Да и тогда мне тоже на письмо не ответили... Ну, прощайте и извините, что обеспокоил.

Взгляд князя был до того ласков в эту минуту, а улыбка его до того без всякого оттенка хотя бы какого-нибудь затаенного неприязненного ощущения, что генерал вдруг остановился и как-то вдруг другим образом посмотрел на своего гостя; вся перемена взгляда совершилась в одно мгновение.

— А знаете, князь, — сказал он совсем почти другим голосом, — ведь я вас все-таки не знаю, да и Елизавета Прокофьевна, может быть, захочет посмотреть на однофамильца... Подождите, если у вас время терпит.

— О, у меня время терпит; у меня время совершенно мое (и князь тотчас же поставил свою мягкую, круглополю шляпу на стол). Я, признаюсь, так и рассчитывал, что, может быть, Елизавета Прокофьевна вспомнит, что я ей писал. Давеча ваш слуга, когда я у вас там дожидался, подзревал, что я на бедность пришел к вам просить; я это заметил, а у вас, должно быть, на этот счет строгие инструкции; но я, право, не за этим, а, право, для того только, чтобы с людьми сойтись. Вот только думаю немного, что я вам помешал, и это меня беспокоит.

— Вот что, князь, — сказал генерал с веселою улыбкой, — если вы в самом деле такой, каким кажетесь, то с вами,

пожалуй, и приятно будет познакомиться; только видите, я человек занятой, и вот тотчас же опять сяду кой-что просмотреть и подписать, а потом отправлюсь к его сиятельству, а потом на службу, так и выходит, что я хоть и рад людям... хорошим то есть... но... Впрочем, я так убежден, что вы превосходно воспитаны, что... А сколько вам лет, князь?

— Двадцать шесть.

— Ух! А я думал, гораздо меньше.

— Да, говорят, у меня лицо моложавое. А не мешать вам я научусь и скоро пойму, потому что сам очень не люблю мешать... И, наконец, мне кажется, мы такие разные люди на вид... по многим обстоятельствам, что у нас, пожалуй, и не может быть много точек общих, но, знаете, я в эту последнюю идею сам не верю, потому очень часто только так кажется, что нет точек общих, а они очень есть... это от лености людской происходит, что люди так промеж собой на глаз сортируются и ничего не могут найти... А впрочем, я, может быть, скучно начал? Вы, как будто...

— Два слова-с: имеете вы хотя бы некоторое состояние? Или, может быть, какие-нибудь занятия намерены предпринять? Извините, что я так...

— Помилуйте, я ваш вопрос очень ценю и понимаю. Никакого состояния покамест я не имею и никаких занятий, тоже покамест, а надо бы-с. А деньги теперь у меня были чужие, мне дал Шнейдер, мой профессор, у которого я лечился и учился в Швейцарии, на дорогу, и дал ровно вплоть, так что теперь, например, у меня всего денег несколько копеек осталось. Дело у меня, правда, есть одно, и я нуждаюсь в совете, но...

— Скажите, чем же вы намереваетесь покамест прожить и какие были ваши намерения? — перебил генерал.

— Трудиться как-нибудь хотел.

— О, да вы философ; а впрочем... знаете за собой таланты, способности, хотя бы некоторые, то есть из тех, которые насущный хлеб дают? Извините опять...

— О, не извиняйтесь. Нет-с, я думаю, что не имею ни талантов, ни особых способностей; даже напротив, потому что я больной человек и правильно не учился. Что же касается до хлеба, то мне кажется...

Генерал опять перебил и опять стал расспрашивать. Князь снова рассказал всё, что было уже рассказано. Оказалось,

что генерал слышал о покойном Павлищеве и даже знал лично. Почему Павлищев интересовался его воспитанием, князь и сам не мог объяснить, — впрочем, просто, может быть, по старой дружбе с покойным отцом его. Остался князь после родителей еще малым ребенком, всю жизнь проживал и рос по деревням, так как и здоровье его требовало сельского воздуха. Павлищев доверил его каким-то старым помещицам, своим родственницам; для него нанималась сначала гувернантка, потом гувернер; он объявил, впрочем, что хотя и всё помнит, но мало может удовлетворительно объяснить, потому что во многом не давал себе отчета. Частые припадки его болезни сделали из него совсем почти идиота (князь так и сказал «идиота»). Он рассказал, наконец, что Павлищев встретился однажды в Берлине с профессором Шнейдером, швейцарцем, который занимается именно этими болезнями, имеет заведение в Швейцарии, в кантоне Валлийском, лечит по своей методе холодною водой, гимнастикой, лечит и от идиотизма и от сумасшествия, при этом обучает и берется вообще за духовное развитие; что Павлищев отправил его к нему в Швейцарию лет назад около пяти, а сам два года тому назад умер, внезапно, не сделав распоряжений; что Шнейдер держал и долечивал его еще года два; что он его не вылечил, но очень много помог, и что, наконец, по его собственному желанию и по одному встретившемуся обстоятельству, отправил его теперь в Россию.

Генерал очень удивился.

— И у вас в России никого, решительно никого? — спросил он.

— Теперь никого, но я надеюсь... притом я получил письмо...

— По крайней мере, — перебил генерал, не расслышав о письме, — вы чему-нибудь обучались, и ваша болезнь не помешает вам занять какое-нибудь, например, нетрудное место, в какой-нибудь службе?

— О, наверно не помешает. И насчет места я бы очень даже желал, потому что самому хочется посмотреть, к чему я способен. Учился же я все четыре года постоянно, хотя и не совсем правильно, а так, по особой его системе, и при этом очень много русских книг удалось прочесть.

— Русских книг? Стало быть, грамоту знаете и писать без ошибок можете?

— О, очень могу.

— Прекрасно-с; а почерк?

— А почерк превосходный. Вот в этом у меня, пожалуй, и талант; в этом я просто каллиграф. Дайте мне, я вам сейчас напишу что-нибудь для пробы, — с жаром сказал князь.

— Сделайте одолжение. И это даже надо... И люблю я эту вашу готовность, князь, вы очень, право, милы.

— У вас же такие славные письменные принадлежности, и сколько у вас карандашей, сколько перьев, какая плотная, славная бумага... И какой славный у вас кабинет! Вот этот пейзаж я знаю; это вид швейцарский. Я уверен, что живописец с натуры писал, и я уверен, что это место я видел: это в кантоне Ури...

— Очень может быть, хотя это и здесь куплено. Ганя, дайте князю бумагу; вот перья и бумага, вот на этот столик пожалуйста. Что это? — обратился генерал к Гане, который тем временем вынул из своего портфеля и подал ему фотографический портрет большого формата, — ба! Настасья Филипповна! Это сама, сама тебе прислала, сама? — оживленно и с большим любопытством спрашивал он Ганю.

— Сейчас, когда я был с поздравлением, дала. Я давно уже просил. Не знаю, уж не намек ли это с ее стороны, что я сам приехал с пустыми руками, без подарка, в такой день, — прибавил Ганя, неприятно улыбаясь.

— Ну нет, — с убеждением перебил генерал, — и какой, право, у тебя склад мыслей! Станет она намекать... да и не интересанка совсем. И притом, чем ты станешь дарить: ведь тут надо тысячи! Разве портретом? А что, кстати, не просила еще она у тебя портрета?

— Нет, еще не просила; да, может быть, и никогда не попросит. Вы, Иван Федорович, помните, конечно, про сегодняшний вечер? Вы ведь из нарочито приглашенных.

— Помню, помню, конечно, и буду. Еще бы, день рождения, двадцать пять лет! Гм... А знаешь, Ганя, я уж, так и быть, тебе открою, приготовься. Афанасию Ивановичу и мне она обещала, что сегодня у себя вечером скажет последнее слово: быть или не быть! Так смотри же, знай.

Ганя вдруг смутился, до того, что даже побледнел немного.

— Она это наверно сказала? — спросил он, и голос его как бы дрогнул.

— Третьего дня слово дала. Мы так приставали оба, что вынудили. Только тебе просила до времени не передавать.

Генерал пристально рассматривал Ганю; смущение Гани ему видимо не нравилось.

— Вспомните, Иван Федорович, — сказал тревожливо и колеблясь Ганя, — что ведь она дала мне полную свободу решения до тех самых пор, пока не решит сама дела, да и тогда всё еще мое слово за мной...

— Так разве ты... так разве ты... — испугался вдруг генерал.

— Я ничего.

— Помилуй, что же ты с нами-то хочешь делать?

— Я ведь не отказываюсь. Я, может быть, не так выразился...

— Еще бы ты-то отказывался! — с досадой проговорил генерал, не желая даже и сдерживать досады. — Тут, брат, дело уж не в том, что ты *не* отказываешься, а дело в твоей готовности, в удовольствии, в радости, с которою примешь ее слова... Что у тебя дома делается?

— Да что дома? Дома всё состоит в моей воле, только отец, по обыкновению, дурачится, но ведь это совершенный безобразник сделался; я с ним уж и не говорю, но, однако ж, в тисках держу, и, право, если бы не мать, так указал бы дверь. Мать всё, конечно, плачет; сестра злится, а я им прямо сказал наконец, что я господин своей судьбы и в доме желаю, чтобы меня... слушались. Сестре по крайней мере всё это отчеканил, при матери.

— А я, брат, продолжаю не постигать, — задумчиво заметил генерал, несколько вскинув плечами и немного расставив руки. — Нина Александровна тоже намерена, вот когда приходила-то, помнишь? стонет и охает; «чего вы?» — спрашиваю. Выходит, что им будто бы тут *бесчестье*. Какое же тут бесчестье, позвольте спросить? Кто в чем может Настасью Филипповну укорить или что-нибудь про нее указать? Неужели то, что она с Тощим была? Но ведь это такой уже вздор, при известных обстоятельствах особенно! «Вы, говорит, не пустите ее к вашим дочерям?» Ну! Эвона! Ай да Нина Александровна! То есть как это не понимать, как это не понимать...

— Своего положения? — подсказал Ганя затруднившемуся генералу. — Она понимает; вы на нее не сердитесь. Я, впрочем, тогда же намылил голову, чтобы в чужие дела

не совались. И однако, до сих пор всё тем только у нас в доме и держится, что последнего слова еще не сказано, а гроза грянет. Если сегодня скажется последнее слово, стало быть, и всё скажется.

Князь слышал весь этот разговор, сидя в уголке за своею каллиграфскою пробой. Он кончил, подошел к столу и подал свой листок.

— Так это Настасья Филипповна? — промолвил он, внимательно и любопытно поглядев на портрет. — Удивительно хороша! — прибавил он тотчас же с жаром. На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона; волосы, по-видимому темно-русые, были убраны просто, по-домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна... Ганя и генерал с изумлением посмотрели на князя...

— Как, Настасья Филипповна! Разве вы уж знаете и Настасью Филипповну? — спросил генерал.

— Да; всего только сутки в России, а уж такую раскрасавицу знаю, — ответил князь и тут же рассказал про свою встречу с Рогожиным и передал весь рассказ его.

— Вот еще новости! — опять затревожился генерал, чрезвычайно внимательно выслушавший рассказ, и пытливо поглядел на Ганю.

— Вероятно, одно только безобразие, — пробормотал тоже несколько замешавшийся Ганя, — купеческий сынок гуляет. Я про него что-то уже слышал.

— Да и я, брат, слышал, — подхватил генерал. — Тогда же, после сereg, Настасья Филипповна весь анекдот пересказывала. Да ведь дело-то теперь уже другое. Тут, может быть, действительно миллион сидит и... страсть, безобразная страсть, положим, но все-таки страстью пахнет, а ведь известно, на что эти господа способны, во всем хмелю!.. Гм!.. Не вышло бы анекдота какого-нибудь! — заключил генерал задумчиво.

— Вы миллиона опасаетесь? — осклабился Ганя.

— А ты нет, конечно?

— Как вам показалось, князь, — обратился вдруг к нему Ганя, — что это, серьезный какой-нибудь человек или только так, безобразник? Собственно ваше мнение?

В Гане что-то происходило особенное, когда он задавал этот вопрос. Точно новая и особенная какая-то идея загорелась у него в мозгу и нетерпеливо засверкала в глазах его. Генерал же, который искренно и простосердечно беспокоился, тоже покосился на князя, но как бы не ожидая много от его ответа.

— Не знаю, как вам сказать, — ответил князь, — только мне показалось, что в нем много страсти, и даже какой-то больной страсти. Да он и сам еще совсем как будто больной. Очень может быть, что с первых же дней в Петербурге и опять сляжет, особенно если закутит.

— Так? Вам так показалось? — уцепился генерал за эту идею.

— Да, показалось.

— И, однако ж, этого рода анекдоты могут происходить и не в несколько дней, а еще до вечера, сегодня же, может, что-нибудь обернется, — усмехнулся генералу Ганя.

— Гм!.. Конечно... Пожалуй, а уж тогда всё дело в том, как у ней в голове мелькнет, — сказал генерал.

— А ведь вы знаете, какова она иногда?

— То есть какова же? — вскинулся опять генерал, достигший чрезвычайного расстройства. — Послушай, Ганя, ты, пожалуйста, сегодня ей много не противоречь и постарайся этак, знаешь, быть... одним словом, быть по душе... Гм!.. Что ты так рот-то кривишь? Слушай, Гаврила Ардалионыч, кстати, очень даже кстати будет теперь сказать: из-за чего мы хлопочем? Понимаешь, что я относительно моей собственной выгоды, которая тут сидит, уже давно обеспечен; я так или иначе, а в свою пользу дело решу. Тоцкий решение свое принял непоколебимо, стало быть, и я совершенно уверен. И потому если я теперь желаю чего, так это единственно твоей пользы. Сам посуди; не доверяешь ты, что ли, мне? Притом же ты человек... человек... одним словом, человек умный, и я на тебя понадеялся... а это в настоящем случае, это... это...

— Это главное, — договорил Ганя, опять помогая затруднившемуся генералу и скорчив свои губы в ядовитейшую улыбку, которую уже не хотел скрывать. Он глядел своим воспаленным взглядом прямо в глаза генералу, как бы даже желая, чтобы тот прочел в его взгляде всю его мысль. Генерал побагровел и вспыхнул.

— Ну да, ум главное! — поддакнул он, резко смотря на Ганю. — И смешной же ты человек, Гаврила Ардалионыч! Ты ведь точно рад, я замечаю, этому купчику, как выходу для себя. Да тут именно чрез ум надо бы с самого начала дойти; тут именно надо понять и... и поступить с обеих сторон честно и прямо, не то... предупредить заранее, чтобы не компрометировать других, тем паче что и времени к тому было довольно, и даже еще и теперь его остается довольно (генерал значительно поднял брови), несмотря на то что остается всего только несколько часов... Ты понял? Понял? Хочешь ты или не хочешь, в самом деле? Если не хочешь, скажи, и — милости просим. Никто вас, Гаврила Ардалионыч, не удерживает, никто насильно в капкан не тащит, если вы только видите тут капкан.

— Я хочу, — вполголоса, но твердо промолвил Ганя, потупил глаза и мрачно замолк.

Генерал был удовлетворен. Генерал погорячился, но уж видимо раскаивался, что далеко зашел. Он вдруг оборотился к князю, и, казалось, по лицу его вдруг прошла беспокойная мысль, что ведь князь был тут и всё таки слышал. Но он мгновенно успокоился: при одном взгляде на князя можно было вполне успокоиться.

— Ого! — вскричал генерал, смотря на образчик каллиграфии, представленный князем, — да ведь это пропись! Да и пропись-то редкая! Посмотри-ка, Ганя, каков талант!

На толстом веленовом листе князь написал средневековым русским шрифтом фразу:

«Смиренный игумен Пафнутий руку приложил».

— Вот это, — разъяснял князь с чрезвычайным удовольствием и одушевлением, — это собственная подпись игумена Пафнутия, со снимка четырнадцатого столетия. Они превосходно подписывались, все эти наши старые игумены и митрополиты, и с каким иногда вкусом, с каким старанием! Неужели у вас нет хоть погодинского издания, генерал? Потом я вот тут написал другим шрифтом: это круглый крупный французский шрифт прошлого столетия, иные буквы даже иначе писались, шрифт площадной, шрифт публичных писцов, заимствованный с их образчиков (у меня был один), — согласитесь сами, что он не без достоинств. Взгляните на эти круглые *д*, *а*. Я перевел французский характер в русские буквы, что очень трудно, а вышло удачно. Вот и еще прекрасный и оригинальный

шрифт, вот эта фраза: «Усердие всё преодолагает». Это шрифт русский, писарский или, если хотите, военно-писарский. Так пишется казенная бумага к важному лицу, тоже круглый шрифт, славный, *черный* шрифт, черно написано, но с замечательным вкусом. Каллиграф не допустил бы этих росчерков, или, лучше сказать, этих попыток расчеркнуться, вот этих недоконченных полухвостиков, — замечаете, — а в целом, посмотрите, оно составляет ведь характер, и, право, вся тут военно-писарская душа проглянула: разгуляться бы и хотелось, и талант просится, да воротник военный туго на крючок стянут, дисциплина и в почерке вышла, прелесть! Это недавно меня один образчик такой поразил, случайно нашел, да еще где? в Швейцарии! Ну, вот это простой, обыкновенный и чистейший английский шрифт: дальше уж изящество не может идти, тут всё прелесть, бисер, жемчуг; это законченно; но вот и вариация, и опять французская, я ее у одного французского путешествующего комми заимствовал: тот же английский шрифт, но черная линия капельку почернее и потолще, чем в английском, а — пропорция света и нарушена; и заметьте тоже: овал изменен, капельку круглее, и вдобавок позволен росчерк, а росчерк — это наипаснейшая вещь! Росчерк требует необыкновенного вкуса; но если только он удался, если только найдена пропорция, то этой шрифтом ни с чем не сравним, так даже, что можно влюбиться в него.

— Ого! да в какие вы тонкости заходите, — смеялся генерал, — да вы, батюшка, не просто каллиграф, вы артист, а? Ганя?

— Удивительно, — сказал Ганя, — и даже с сознанием своего назначения, — прибавил он, смеясь насмешливо.

— Смейся, смейся, а ведь тут карьера, — сказал генерал. — Вы знаете, князь, к какому лицу мы теперь вам бумаги писать дадим? Да вам прямо можно тридцать пять рублей в месяц положить, с первого шагу. Однако уж половина первого, — заключил он, взглянув на часы, — к делу, князь, потому мне надо поспешить, а сегодня, может, мы с вами не встретимся! Присядьте-ка на минутку; я вам уже изъяснил, что принимать вас очень часто не в состоянии; но помочь вам капельку искренно желаю, капельку разумеется, то есть в виде необходимейшего, а там как уж вам самим будет угодно. Местечко в канцелярии я

вам приищу, не тугое, но потребует аккуратности. Теперь-с насчет дальнейшего: в доме, то есть в семействе Гаврилы Ардалионыча Иволгина, вот этого самого молодого моего друга, с которым прошу познакомиться, маменька его и сестрица очистили в своей квартире две-три меблированные комнаты и отдают их отлично рекомендованным жильцам, со столом и прислугой. Мою рекомендацию, я уверен, Нина Александровна примет. Для вас же, князь, это даже больше чем клад, во-первых, потому, что вы будете не один, а, так сказать, в недрах семейства, а, по моему взгляду, вам нельзя с первого шагу очутиться одним в такой столице, как Петербург. Нина Александровна, маменька, и Варвара Ардалионовна, сестрица Гаврилы Ардалионыча, — дамы, которых я уважаю чрезмерно. Нина Александровна, супруга Ардалиона Александровича, отставленного генерала, моего бывшего товарища по первоначальной службе, но с которым я, по некоторым обстоятельствам, прекратил сношения, что, впрочем, не мешает мне в своем роде уважать его. Всё это я вам изъясняю, князь, с тем, чтобы вы поняли, что я вас, так сказать, лично рекомендую, следственно, за вас как бы тем ручаюсь. Плата самая умеренная, и, я надеюсь, жалованье ваше вскорости будет совершенно к тому достаточно. Правда, человеку необходимы и карманные деньги, хотя бы некоторые, но вы не рассердитесь, князь, если я вам замечу, что вам лучше бы избегать карманных денег, да и вообще денег в кармане. Так по взгляду моему на вас говорю. Но так как теперь у вас кошелек совсем пуст, то, для первоначалу, позвольте вам предложить вот эти двадцать пять рублей. Мы, конечно, сочтемся, и если вы такой искренний и задушевный человек, каким кажетесь на словах, то затруднений и тут между нами выйти не может. Если же я вами так интересуюсь, то у меня на ваш счет есть даже некоторая цель; впоследствии вы ее узнаете. Видите, я с вами совершенно просто; надеюсь, Ганя, ты ничего не имеешь против помещения князя в вашей квартире?

— О, напротив! И мамаша будет очень рада... — вежливо и предупредительно подтвердил Ганя.

— У вас ведь, кажется, только еще одна комната и занята. Этот, как его, Ферд... Фер...

— Фердыщенко.

— Ну да; не нравится мне этот ваш Фердыщенко: сальный шут какой-то. И не понимаю, почему его так поощряет Настасья Филипповна? Да он взаправду, что ли, ей родственник?

— О нет, всё это шутка! И не пахнет родственником.

— Ну, черт с ним! Ну, так как же вы, князь, довольны или нет?

— Благодарю вас, генерал, вы поступили со мной как чрезвычайно добрый человек, тем более что я даже и не просил; я не из гордости это говорю; я и действительно не знал, куда голову приклонить. Меня, правда, давеча позвал Рогожин.

— Рогожин? Ну нет; я бы вам посоветовал отечески или, если больше любите, дружески и забыть о господине Рогожине. Да и вообще советовал бы вам придерживаться семейства, в которое вы поступите.

— Если уж вы так добры, — начал было князь, — то вот у меня одно дело. Я получил уведомление...

— Ну, извините, — перебил генерал, — теперь ни минуты более не имею. Сейчас я скажу о вас Лизавете Прокофьевне: если она пожелает принять вас теперь же (я уж в таком виде постараюсь вас отрекомендовать), то советую воспользоваться случаем и понравиться, потому Лизавета Прокофьевна очень может вам пригодиться; вы же однофамилец. Если не пожелает, то не взыщите, когда-нибудь в другое время. А ты, Ганя, взгляни-ка покамест на эти счета, мы давеча с Федосеевым бились. Их надо бы не забыть включить...

Генерал вышел, и князь так и не успел рассказать о своем деле, о котором начинал было чуть ли не в четвертый раз. Ганя закурил папиросу и предложил другую князю; князь принял, но не заговаривал, не желая помешать, и стал рассматривать кабинет; но Ганя едва взглянул на лист бумаги, исписанный цифрами, указанный ему генералом. Он был рассеян; улыбка, взгляд, задумчивость Гани стали еще более тяжелы, на взгляд князя, когда они оба остались наедине. Вдруг он подошел к князю; тот в эту минуту стоял опять над портретом Настасьи Филипповны и рассматривал его.

— Так вам нравится такая женщина, князь? — спросил он его вдруг, пронзительно смотря на него. И точно будто бы у него было какое чрезвычайное намерение.

— Удивительное лицо! — ответил князь, — и я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Всё было бы спасено!

— А женились бы *вы* на такой женщине? — продолжал Ганя, не спуская с него своего воспаленного взгляда.

— Я не могу жениться ни на ком, я нездоров, — сказал князь.

— А Рогожин женился бы? Как вы думаете?

— Да что же, жениться, я думаю, и завтра же можно; женился бы, а чрез неделю, пожалуй, и зарезал бы ее.

Только что выговорил это князь, Ганя вдруг так вздрогнул, что князь чуть не вскрикнул.

— Что с вами? — проговорил он, хватая его за руку.

— Ваше сиятельство! Его превосходительство просят вас пожаловать к ее превосходительству, — возвестил лакей, появляясь в дверях. Князь отправился вслед за лакеем.

IV

Все три девицы Епанчины были барышни здоровые, цветущие, рослые, с удивительными плечами, с мощною грудью, с сильными, почти как у мужчин, руками, и, конечно вследствие своей силы и здоровья, любили иногда хорошо покушать, чего вовсе и не желали скрывать. Маменька их, генеральша Лизавета Прокофьевна, иногда косилась на откровенность их аппетита, но так как иные мнения ее, несмотря на всю наружную почтительность, с которою принимались дочерьми, в сущности, давно уже потеряли первоначальный и бесспорный авторитет между ними, и до такой даже степени, что установившийся согласный конклав трех девиц сплошь да рядом начинал пересиливать, то и генеральша, в видах собственного достоинства, нашла удобнее не спорить и уступать. Правда, характер весьма часто не слушался и не подчинялся решениям благоразумия; Лизавета Прокофьевна становилась с каждым годом всё капризнее и нетерпеливее, стала даже какая-то чудачка, но так как под рукой все-таки оставался весьма покорный и приученный муж, то излишнее и накопившееся изливалось обыкновенно на его голову, а затем

гармония в семействе восстанавливалась опять, и всё шло как не надо лучше.

Генеральша, впрочем, и сама не теряла аппетита и обыкновенно, в половине первого, принимала участие в обильном завтраке, похожем почти на обед, вместе с дочерьми. По чашке кофею выпивалось барышнями еще раньше, ровно в десять часов, в постелях, в минуту пробуждения. Таким полюбилось и установилось раз навсегда. В половине же первого накрывался стол в маленькой столовой, близ мамашиних комнат, и к этому семейному и интимному завтраку являлся иногда и сам генерал, если позволяло время. Кроме чаю, кофею, сыру, меду, масла, особых оладий, излюбленных самою генеральшей, котлет и прочего, подавался даже крепкий горячий бульон. В то утро, в которое начался наш рассказ, всё семейство собралось в столовой в ожидании генерала, обещавшего явиться к половине первого. Если б он опоздал хоть минуту, за ним тотчас же послали бы; но он явился аккуратно. Подойдя поздороваться с супругой и поцеловать у ней ручку, он заметил в лице ее на этот раз что-то слишком особенное. И хотя он еще накануне предчувствовал, что так именно и будет сегодня по одному «анекдоту» (как он сам по привычке своей выражался), и, уже засыпая вчера, об этом беспокоился, но все-таки теперь опять струсил. Дочери подошли с ним поцеловаться; тут хотя и не сердились на него, но все-таки и тут было тоже как бы что-то особенное. Правда, генерал, по некоторым обстоятельствам, стал излишне подозрителен; но так как он был отец и супруг опытный и ловкий, то тотчас же и взял свои меры.

Может быть, мы не очень повредим выпуклости нашего рассказа, если остановимся здесь и прибегнем к помощи некоторых пояснений для прямой и точнейшей постановки тех отношений и обстоятельств, в которых мы находим семейство генерала Епанчина в начале нашей повести. Мы уже сказали сейчас, что сам генерал хотя был человек и не очень образованный, а, напротив, как он сам выражался о себе, «человек самоучный», но был, однако же, опытным супругом и ловким отцом. Между прочим, он принял систему не торопить дочерей своих замуж, то есть не «висеть у них над душой» и не беспокоить их слишком томлением своей родительской любви об их счастье, как невольно и естественно происходит сплошь да рядом

даже в самых умных семействах, в которых накаплиются взрослые дочери. Он даже достиг того, что склонил и Лизавету Прокофьевну к своей системе, хотя дело вообще было трудное, — трудное потому, что и неестественное; но аргументы генерала были чрезвычайно значительны, основывались на осязаемых фактах. Да и предоставленные вполне своей воле и своим решениям невесты, натурально, принуждены же будут наконец взяться сами за ум, и тогда дело загорится, потому что возьмутся за дело охотой, отложив капризы и излишнюю разборчивость; родителям оставалось бы только неусыпнее и как можно неприметнее наблюдать, чтобы не произошло какого-нибудь странного выбора или неестественного уклонения, а затем, уловив надлежащий момент, разом помочь всеми силами и направить дело всеми влияниями. Наконец, уж одно то, что с каждым годом, например, росло в геометрической прогрессии их состояние и общественное значение; следовательно, чем больше уходило время, тем более выигрывали и дочери, даже как невесты. Но среди всех этих неотразимых фактов наступил и еще один факт: старшей дочери, Александре, вдруг и совсем почти неожиданно (как и всегда это так бывает), минуло двадцать пять лет. Почти в то же самое время и Афанасий Иванович Тоцкий, человек высшего света, с высшими связями и необыкновенного богатства, опять обнаружил свое старинное желание жениться. Это был человек лет пятидесяти пяти, изящного характера, с необыкновенною утонченностью вкуса. Ему хотелось жениться хорошо; ценитель красоты он был чрезвычайный. Так как с некоторого времени он с генералом Епанчиным состоял в необыкновенной дружбе, особенно усиленной взаимным участием в некоторых финансовых предприятиях, то и сообщил ему, так сказать, прося дружеского совета и руководства: возможно или нет предложение о браке с одною из его дочерей? В тихом и прекрасном течении семейной жизни генерала Епанчина наступал очевидный переворот.

Бесспорною красавицей в семействе, как уже сказано было, была младшая, Аглая. Но даже сам Тоцкий, человек чрезвычайного эгоизма, понял, что не тут ему надо искать и что Аглая не ему предназначена. Может быть, несколько слепая любовь и слишком горячая дружба сестер и преувеличивали дело, но судьба Аглаи предназначалась между

ними, самым искренним образом, быть не просто судьбой, а возможным идеалом земного рая. Будущий муж Аглаи должен был быть обладателем всех совершенств и успехов, не говоря уже о богатстве. Сестры даже положили между собой, и как-то без особенных лишних слов, о возможности, если надо, пожертвования с их стороны в пользу Аглаи: приданое для Аглаи предназначалось колоссальное и из ряду вон. Родители знали об этом соглашении двух старших сестер, и потому, когда Тоцкий попросил совета, между ними почти и сомнений не было, что одна из старших сестер наверно не откажется увенчать их желания, тем более что Афанасий Иванович не мог затрудниться насчет приданого. Предложение же Тоцкого сам генерал оценил тотчас же, с свойственным ему знанием жизни, чрезвычайно высоко. Так как и сам Тоцкий наблюдал покамест, по некоторым особым обстоятельствам, чрезвычайную осторожность в своих шагах и только еще сондировал дело, то и родители предложили дочерям на вид только еще самые отдаленные предположения. В ответ на это было получено от них, тоже хоть не совсем определенное, но по крайней мере успокоительное заявление, что старшая, Александра, пожалуй, и не откажется. Это была девушка хотя и с твердым характером, но добрая, разумная и чрезвычайно уживчивая; могла выйти за Тоцкого даже охотно, и если бы дала слово, то исполнила бы его честно. Блеска она не любила, не только не грозила хлопотами и крутым переворотом, но могла даже усладить и успокоить жизнь. С собой она была очень хороша, хотя и не так эффектна. Что могло быть лучше для Тоцкого?

И однако же, дело продолжало идти всё еще ощупью. Взаимно и дружески между Тоцким и генералом положено было избегать всякого формального и безвозвратного шага. Даже родители всё еще не начинали говорить с дочерьми совершенно открыто; начинался как будто и диссонанс: генеральша Епанчина, мать семейства, становилась почему-то недовольною, а это было очень важно. Тут было одно мешавшее всему обстоятельство, один мудреный и хлопотливый случай, из-за которого всё дело могло разстроиться безвозвратно.

Этот мудреный и хлопотливый «случай» (как выражался сам Тоцкий) начался очень давно, лет восемнадцать этак назад. Рядом с одним из богатейших поместий Афа-

насия Ивановича, в одной из срединных губерний, бедствовал один мелкопоместный и беднейший помещик. Это был человек замечательный по своим непрерывным и анекдотическим неудачам, — один отставной офицер, хорошей дворянской фамилии, и даже в этом отношении почище Тоцкого, некто Филипп Александрович Барашков. Весь задолжавшийся и заложившийся, он успел уже наконец после каторжных, почти мужичьих трудов устроить кое-как свое маленькое хозяйство удовлетворительно. При малейшей удаче он необыкновенно ободрялся. Ободренный и просиявший надеждами, он отлучился на несколько дней в свой уездный городок, чтобы повидаться и, буде возможно, столкнуться окончательно с одним из главнейших своих кредиторов. На третий день по прибытии его в город явился к нему из его деревеньки его староста, верхом, с обожженной щекой и обгоревшею бородой, и возвестил ему, что «вотчина сгорела», вчера, в самый полдень, причем «изволили сгореть и супруга, а деточки целы остались». Этого сюрприза даже и Барашков, приученный к «синякам фортуны», не мог вынести; он сошел с ума и чрез месяц помер в горячке. Сгоревшее имение, с разбредшимися по миру мужиками, было продано за долги; двух же маленьких девочек, шести и семи лет, детей Барашкова, по великодушию своему, принял на свое иждивение и воспитание Афанасий Иванович Тоцкий. Они стали воспитываться вместе с детьми управляющего Афанасия Ивановича, одного отставного и многосемейного чиновника и притом немца. Вскоре осталась одна только девочка, Настя, а младшая умерла от коклюша; Тоцкий же вскоре со всем и забыл о них обеих, проживая за границей. Лет пять спустя, однажды, Афанасий Иванович, проездом, вздумал заглянуть в свое поместье и вдруг заметил в деревенском своем доме, в семействе своего немца, прелестного ребенка, девочку лет двенадцати, резвую, милую, умненькую и обещавшую необыкновенную красоту; в этом отношении Афанасий Иванович был знаток безошибочный. В этот раз он пробыл в поместье всего несколько дней, но успел распорядиться; в воспитании девочки произошла значительная перемена: приглашена была почтенная и пожилая гувернантка, опытная в высшем воспитании девиц, швейцарка, образованная и преподававшая, кроме французского языка, и разные науки. Она поселилась в деревенском

доме, и воспитание маленькой Настасьи приняло чрезвычайные размеры. Ровно чрез четыре года это воспитание кончилось; гувернантка уехала, а за Настей приехала одна барыня, тоже какая-то помещица и тоже соседка господина Тоцкого по имению, но уже в другой, далекой губернии, и взяла Настю с собой вследствие инструкции и полномочия от Афанасия Ивановича. В этом небольшом поместье оказался тоже, хотя и небольшой, только что отстроенный деревянный дом; убран он был особенно изящно, да и деревенька, как нарочно, называлась селцо Отрадное. Помещица привезла Настю прямо в этот тихий домик, и так как сама она, бездетная вдова, жила всего в одной версте, то и сама поселилась вместе с Настей. Около Насти явилась старуха ключница и молодая, опытная горничная. В доме нашлись музыкальные инструменты, изящная девичья библиотека, картины, эстампы, карандаши, кисти, краски, удивительная левретка, а чрез две недели пожаловал и сам Афанасий Иванович... С тех пор он как-то особенно полюбил эту глухую степную свою деревеньку, заезжал каждое лето, гостил по два, даже по три месяца, и так прошло довольно долгое время, года четыре, спокойно и счастливо, со вкусом и изящно.

Однажды случилось, что как-то в начале зимы, месяца четыре спустя после одного из летних приездов Афанасия Ивановича в Отрадное, заезжавшего на этот раз всего только на две недели, пронесся слух, или, лучше сказать, дошел как-то слух до Настасьи Филипповны, что Афанасий Иванович в Петербурге женится на красавице, на богатой, на знатной, — одним словом, делает солидную и блестящую партию. Слух этот оказался потом не во всех подробностях верным: свадьба и тогда была еще только в проекте, и всё еще было очень неопределенно, но в судьбе Настасьи Филипповны все-таки произошел с этого времени чрезвычайный переворот. Она вдруг выказала необыкновенную решимость и обнаружила самый неожиданный характер. Долго не думая, она бросила свой деревенский домик и вдруг явилась в Петербург, прямо к Тоцкому, одна-одинехонька. Тот изумился, начал было говорить; но вдруг оказалось, почти с первого слова, что надобно совершенно изменить слог, диапазон голоса, прежние темы приятных и изящных разговоров, употреблявшиеся доселе с таким успехом, логику — всё, всё, всё! Перед ним сидела совер-

шенно другая женщина, нисколько не похожая на ту, которую он знал доселе и оставил всего только в июле месяце, в селъце Отрадном.

Эта новая женщина, оказалось, во-первых, необыкновенно много знала и понимала, — так много, что надо было глубоко удивляться, откуда могла она приобрести такие сведения, выработать в себе такие точные понятия. (Неужели из своей девичьей библиотеки?) Мало того, она даже юридически чрезвычайно много понимала и имела положительное знание если не света, то о том по крайней мере, как некоторые дела текут на свете; во-вторых, это был совершенно не тот характер, как прежде, то есть не что-то робкое, пансионски неопределенное, иногда очаровательное по своей оригинальной резвости и наивности, иногда грустное и задумчивое, удивленное, недоверчивое, плачущее и беспокойное.

Нет: тут хохотало пред ним и кололо его ядовитейшими сарказмами необыкновенное и неожиданное существо, прямо заявившее ему, что никогда оно не имело к нему в своем сердце ничего, кроме глубочайшего презрения, презрения до тошноты, наступившего тотчас же после первого удивления. Эта новая женщина объявляла, что ей в полном смысле всё равно будет, если он сейчас же и на ком угодно женится, но что она приехала не позволить ему этот брак, и не позволить по злости, единственно потому, что ей так хочется, и что, следственно, так и быть должно, — «ну, хоть для того, чтобы мне только посмеяться над тобой вволю, потому что теперь и я наконец смеяться хочу».

Так по крайней мере она выражалась; всего, что было у ней на уме, она, может быть, и не высказала. Но покамест новая Настасья Филипповна хохотала и всё это излагала, Афанасий Иванович обдумывал про себя это дело и по возможности приводил в порядок несколько разбитые свои мысли. Это обдумывание продолжалось немало времени; он вникал и решался окончательно почти две недели; но через две недели его решение было принято. Дело в том, что Афанасию Ивановичу в то время было уже около пятидесяти лет, и человек он был в высшей степени солидный и установившийся. Постановка его в свете и в обществе давным-давно совершилась на самых прочных основаниях. Себя, свой покой и комфорт он любил и ценил более всего на свете, как и следовало в высшей степе-

ни порядочному человеку. Ни малейшего нарушения, ни малейшего колебания не могло быть допущено в том, что всею жизнью устанавливалось и приняло такую прекрасную форму. С другой стороны, опытность и глубокий взгляд на вещи подсказали Тоцкому очень скоро и необыкновенно верно, что он имеет теперь дело с существом совершенно из ряда вон, что это именно такое существо, которое не только грозит, но и непременно сделает, и, главное, ни пред чем решительно не остановится, тем более что решительно ничем в свете не дорожит, так что даже и соблазнить его невозможно. Тут, очевидно, было что-то другое, подразумевалась какая-то душевная и сердечная бурда, — что-то вроде какого-то романического негодования Бог знает на кого и за что, какого-то ненасытного чувства презрения, совершенно выскочившего из мерки, — одним словом, что-то в высшей степени смешное и недозволенное в порядочном обществе и с чем встретиться для всякого порядочного человека составляет чистейшее Божие наказание. Разумеется, с богатством и со связями Тоцкого можно было тотчас же сделать какое-нибудь маленькое и совершенно невинное злодеяние, чтоб избавиться от неприятности. С другой стороны, было очевидно, что и сама Настасья Филипповна почти ничего не в состоянии сделать вредного, в смысле, например, хоть юридического; даже и скандала не могла бы сделать значительного, потому что так легко ее можно было всегда ограничить. Но всё это в таком только случае, если бы Настасья Филипповна решилась действовать, как все и как вообще в подобных случаях действуют, не высказывая слишком эксцентрично из мерки. Но тут-то и пригодилась Тоцкому его верность взгляда: он сумел разгадать, что Настасья Филипповна и сама отлично понимает, как безвредна она в смысле юридическом, но что у ней совсем другое на уме и... в сверкавших глазах ее. Ничем не дорожа, а пуще всего собой (нужно было очень много ума и проникновения, чтобы догадаться в эту минуту, что она давно уже перестала дорожить собой, и чтоб ему, скептику и светскому цинику, поверить серьезности этого чувства), Настасья Филипповна в состоянии была самое себя погубить, безвозвратно и безобразно, Сибирью и каторгой, лишь бы надругаться над человеком, к которому она питала такое бесчеловечное отвращение. Афанасий Иванович никогда не скрывал, что

он был несколько трусоват или, лучше сказать, в высшей степени консервативен. Если б он знал, например, что его убьют под венцом или произойдет что-нибудь в этом роде, чрезвычайно неприличное, смешное и непринятое в обществе, то он, конечно бы, испугался, но при этом не столько того, что его убьют и ранят до крови или плюнут всепублично в лицо и пр., и пр., а того, что это произойдет с ним в такой неестественной и неприятной форме. А ведь Настасья Филипповна именно это и пророчила, хотя еще и молчала об этом; он знал, что она в высшей степени его понимала и изучила, а следственно, знала, чем в него и ударить. А так как свадьба действительно была еще только в намерении, то Афанасий Иванович смирился и уступил Настасье Филипповне.

Решению его помогло и еще одно обстоятельство: трудно было вообразить себе, до какой степени не походила эта новая Настасья Филипповна на прежнюю лицом. Прежде это была только очень хорошенькая девочка, а теперь... Тоцкий долго не мог простить себе, что он четыре года глядел и не разглядел. Правда, много значит и то, когда с обеих сторон, внутренне и внезапно, происходит переворот. Он припоминал, впрочем, и прежде мгновения, когда иногда странные мысли приходили ему при взгляде, например, на эти глаза: как бы предчувствовался в них какой-то глубокий и таинственный мрак. Этот взгляд глядел — точно задавал загадку. В последние два года он часто удивлялся изменению цвета лица Настасьи Филипповны: она становилась ужасно бледна и — странно — даже хорошела от этого. Тоцкий, который, как все погулявшие на своем веку джентльмены, с презрением смотрел вначале, как дешево досталась ему эта нежившая душа, в последнее время несколько усумнился в своем взгляде. Во всяком случае, у него положено было еще прошлую весной, в скором времени, отлично и с достатком выдать Настасью Филипповну замуж за какого-нибудь благоразумного и порядочного господина, служащего в другой губернии. (О, как ужасно и как зло смеялась над этим теперь Настасья Филипповна!) Но теперь Афанасий Иванович, прельщенный новизной, подумал даже, что он мог бы вновь эксплуатировать эту женщину. Он решил поселить Настасью Филипповну в Петербурге и окружить роскошным комфортом. Если не то, так другое: Настасьей Филипповной можно было

щегольнуть и даже потщеславиться в известном кружке. Афанасий же Иванович так дорожил своею славой по этой части.

Прошло уже пять лет петербургской жизни, и, разумеется, в такой срок многое определилось. Положение Афанасия Ивановича было неутешительное; всего хуже было то, что он, струсив раз, уже никак потом не мог успокоиться. Он боялся — и даже сам не знал чего, — просто боялся Настасьи Филипповны. Некоторое время, в первые два года, он стал было подозревать, что Настасья Филипповна сама желает вступить с ним в брак, но молчит из необыкновенного тщеславия и ждет настойчивого его предложения. Претензия была бы странная; Афанасий Иванович морщился и тяжело задумывался. К большому и (такое сердце человека!) к несколько неприятному своему изумлению, он вдруг, по одному случаю, убедился, что если бы даже он и сделал предложение, то его бы не приняли. Долгое время он не понимал этого. Ему показалось возможным одно только объяснение, что гордость «оскорбленной и фантастической женщины» доходит уже до такого исступления, что ей скорее приятнее высказать раз свое презрение в отказе, чем навсегда определить свое положение и достигнуть недостижимого величия. Хуже всего было то, что Настасья Филипповна ужасно много взяла верху. На интерес тоже не поддавалась, даже на очень крупный, и хотя приняла предложенный ей комфорт, но жила очень скромно и почти ничего в эти пять лет не скопила. Афанасий Иванович рискнул было на очень хитрое средство, чтобы разбить свои цепи: неприметно и искусно он стал соблазнять ее, чрез ловкую помощь, разными идеальнейшими соблазнами; но олицетворенные идеалы: князья, гусары, секретари посольств, поэты, романисты, социалисты даже — ничто не произвело никакого впечатления на Настасью Филипповну, как будто у ней вместо сердца был камень, а чувства иссохли и вымерли раз навсегда. Жила она больше уединенно, читала, даже училась, любила музыку. Знакомств имела мало: она всё зналась с какими-то бедными и смешными чиновницами, знала двух каких-то актрис, каких-то старух, очень любила многочисленное семейство одного почтенного учителя, и в семействе этом и ее очень любили и с удовольствием принимали. Довольно часто по вечерам сходились к ней пять-шесть человек

знакомых, не более. Тоцкий являлся очень часто и аккуратно. В последнее время не без труда познакомился с Настасьей Филипповной генерал Епанчин. В то же время совершенно легко и без всякого труда познакомился с ней и один молодой чиновник, по фамилии Фердыщенко, очень неприличный и сальный шут, с претензиями на веселость и выпивающий. Был знаком один молодой и странный человек, по фамилии Птицын, скромный, аккуратный и выложенный, происшедший из нищеты и сделавшийся ростовщиком. Познакомился, наконец, и Гаврила Ардалионович... Кончилось тем, что про Настасью Филипповну установилась странная слава: о красоте ее знали все, но и только; никто не мог ничем похвалиться, никто не мог ничего рассказать. Такая репутация, ее образование, изящная манера, остроумие — всё это утвердило Афанасия Ивановича окончательно на известном плане. Тут-то и начинается тот момент, с которого принял в этой истории такое деятельное и чрезвычайное участие сам генерал Епанчин.

Когда Тоцкий так любезно обратился к нему за дружеским советом насчет одной из его дочерей, то тут же, самым благороднейшим образом, сделал полнейшие и откровенные признания. Он открыл, что решился уже не останавливаться *ни пред какими* средствами, чтобы получить свою свободу; что он не успокоился бы, если бы Настасья Филипповна даже сама объявила ему, что впредь оставит его в полном покое; что ему мало слов, что ему нужны самые полные гарантии. Столковались и решились действовать сообща. Первоначально положено было испытать средства самые мягкие и затронуть, так сказать, одни «благородные струны сердца». Оба приехали к Настасье Филипповне, и Тоцкий прямехонько начал с того, что объявил ей о невыносимом ужасе своего положения; обвинил он себя во всем; откровенно сказал, что не может раскаться в первоначальном поступке с нею, потому что он сластолюбец закоренелый и в себе не властен, но что теперь он хочет жениться и что вся судьба этого в высшей степени приличного и светского брака в ее руках; одним словом, что он ждет всего от ее благородного сердца. Затем стал говорить генерал Епанчин, в своем качестве отца, и говорил резонно, избегнул трогательного, упомянул только, что вполне признает ее право на решение судьбы Афа-

насия Ивановича, ловко щегольнул собственным смирением, представив на вид, что судьба его дочери, а может быть и двух других дочерей, зависит теперь от ее же решения. На вопрос Настасьи Филипповны: «Чего именно от нее хотят?» — Тоцкий с прежнею, совершенно обнаженною прямою признался ей, что он так напуган еще пять лет назад, что не может даже и теперь совсем успокоиться, до тех пор пока Настасья Филипповна сама не выйдет за кого-нибудь замуж. Он тотчас же прибавил, что просьба эта была бы, конечно, с его стороны нелепа, если б он не имел насчет ее некоторых оснований. Он очень хорошо заметил и положительно узнал, что молодой человек, очень хорошей фамилии, живущий в самом достойном семействе, а именно Гаврила Ардалионович Иволгин, которого она знает и у себя принимает, давно уже любит ее всею силой страсти и, конечно, отдал бы половину жизни за одну надежду приобрести ее симпатию. Признания эти Гаврила Ардалионович сделал ему, Афанасию Ивановичу, сам, и давно уже, по-дружески и от чистого молодого сердца, и что об этом давно уже знает и Иван Федорович, благодетельствующий молодому человеку. Наконец, если только он, Афанасий Иванович, не ошибается, любовь молодого человека давно уже известна самой Настасье Филипповне, и ему показалось даже, что она смотрит на эту любовь снисходительно. Конечно, ему всех труднее говорить об этом. Но если Настасья Филипповна захотела бы допустить в нем, в Тоцком, кроме эгоизма и желания устроить свою собственную участь, хотя несколько желания добра и ей, то поняла бы, что ему давно странно и даже тяжело смотреть на ее одиночество: что тут один только неопределенный мрак, полное неверие в обновление жизни, которая так прекрасно могла бы воскреснуть в любви и в семействе и принять таким образом новую цель; что тут гибель способностей, может быть блестящих, добровольное любование своею тоской, одним словом, даже некоторый романтизм, не достойный ни здравого ума, ни благородного сердца Настасьи Филипповны. Повторив еще раз, что ему труднее других говорить, что не может отказаться от надежды, что Настасья Филипповна не ответит ему презрением, если он выразит свое искреннее желание обеспечить ее участь в будущем и предложит ей сумму в семьдесят пять тысяч рублей. Он прибавил в пояснение,

что эта сумма всё равно назначена уже ей в его завещании; одним словом, что тут вовсе не вознаграждение какое-нибудь... и что, наконец, почему же не допустить и не извинить в нем человеческого желания хоть чем-нибудь облегчить свою совесть и т. д., и т. д., всё, что говорится в подобных случаях на эту тему. Афанасий Иванович говорил долго и красноречиво, присовокупив, так сказать мимоходом, очень любопытное сведение, что об этих семидесяти пяти тысячах он заикнулся теперь в первый раз и что о них не знал даже и сам Иван Федорович, который вот тут сидит; одним словом, не знает *никто*.

Ответ Настасьи Филипповны изумил обоих друзей.

Не только не было заметно в ней хотя бы малейшего появления прежней насмешки, прежней вражды и ненависти, прежнего хохоту, от которого, при одном воспоминании, до сих пор проходил холод по спине Тоцкого, но, напротив, она как будто обрадовалась тому, что может наконец поговорить с кем-нибудь откровенно и по-дружески. Она призналась, что сама давно желала спросить дружеского совета, что мешала только гордость, но что теперь, когда лед разбит, ничего и не могло быть лучше. Сначала с грустной улыбкой, а потом весело и резво рассмеявшись, она призналась, что прежней бури во всяком случае и быть не могло; что она давно уже изменила отчасти свой взгляд на вещи и что хотя и не изменилась в сердце, но все-таки принуждена была очень многое допустить в виде совершившихся фактов; что сделано, то сделано, что прошло, то прошло, так что ей даже странно, что Афанасий Иванович всё еще продолжает быть так напуганным. Тут она обратилась к Ивану Федоровичу и с видом глубочайшего уважения объявила, что она давно уже слышала очень многое об его дочерях и давно уже привыкла глубоко и искренно уважать их. Одна мысль о том, что она могла бы быть для них хоть чем-нибудь полезною, была бы, кажется, для нее счастьем и гордостью. Это правда, что ей теперь тяжело и скучно, очень скучно; Афанасий Иванович угадал мечты ее; она желала бы воскреснуть, хоть не в любви, так в семействе, сознав новую цель; но что о Гавриле Ардалионовиче она почти ничего не может сказать. Кажется, правда, что он ее любит; она чувствует, что могла бы и сама его полюбить, если бы могла поверить в твердость его привязанности; но он очень молод, если

даже и искренен; тут решение трудно. Ей, впрочем, нравится больше всего то, что он работает, трудится и один поддерживает всё семейство. Она слышала, что он человек с энергией, с гордостью, хочет карьеры, хочет пробиться. Слышала тоже, что Нина Александровна Иволгина, мать Гаврилы Ардалионовича, превосходная и в высшей степени уважаемая женщина; что сестра его, Варвара Ардалионовна, очень замечательная и энергичная девушка; она много слышала о ней от Птицына. Она слышала, что они бодро переносят свои несчастья; она очень бы желала с ними познакомиться, но еще вопрос, радушно ли они примут ее в их семью? Вообще она ничего не говорит против возможности этого брака, но об этом еще слишком надо подумать; она желала бы, чтоб ее не торопили. Насчет же семидесяти пяти тысяч — напрасно Афанасий Иванович так затруднялся говорить о них. Она понимает сама цену деньгам и, конечно, их возьмет. Она благодарит Афанасия Ивановича за его деликатность, за то, что он даже и генералу об этом не говорил, не только Гавриле Ардалионовичу, но, однако ж, почему же и ему не знать об этом заранее? Ей нечего стыдиться за эти деньги, входя в их семью. Во всяком случае, она ни у кого не намерена просить прощения ни в чем и желает, чтоб это знали. Она не выйдет за Гаврилу Ардалионовича, пока не убедится, что ни в нем, ни в семействе его нет какой-нибудь затаенной мысли на ее счет. Во всяком случае, она ни в чем не считает себя виновною, и пусть бы лучше Гаврила Ардалионович узнал, на каких основаниях она прожила все эти пять лет в Петербурге, в каких отношениях к Афанасию Ивановичу и много ли скопила состояния. Наконец, если она и принимает теперь капитал, то вовсе не как плату за свой девичий позор, в котором она не виновата, а просто как вознаграждение за исковерканную судьбу.

Под конец она даже так разгорячилась и раздражилась, излагая всё это (что, впрочем, было так естественно), что генерал Епанчин был очень доволен и считал дело оконченным; но раз напуганный Тоцкий и теперь не совсем поверил и долго боялся, нет ли и тут змеи под цветами. Переговоры, однако, начались; пункт, на котором был основан весь маневр обоих друзей, а именно возможность увлечения Настасьи Филипповны к Гане, начал мало-помалу выясняться и оправдываться, так что даже Тоцкий

начинал иногда верить в возможность успеха. Тем временем Настасья Филипповна объяснилась с Ганей: слов было сказано очень мало, точно ее целомудрие страдало при этом. Она допускала, однако ж, и позволяла ему любовь его, но настойчиво объявила, что ничем не хочет стеснять себя; что она до самой свадьбы (если свадьба состоится) оставляет за собой право сказать «нет», хотя бы в самый последний час; совершенно такое же право предоставляет и Гане. Вскоре Ганя узнал положительно, чрез услужливый случай, что недоброжелательство всей его семьи к этому браку и к Настасье Филипповне лично, обнаруживавшееся домашними сценами, уже известно Настасье Филипповне в большой подробности; сама она с ним об этом не заговаривала, хотя он и ждал ежедневно. Впрочем, можно было бы и еще много рассказать из всех историй и обстоятельств, обнаружившихся по поводу этого сватовства и переговоров; но мы и так забежали вперед, тем более что иные из обстоятельств являлись еще в виде слишком неопределенных слухов. Например, будто бы Тоцкий откуда-то узнал, что Настасья Филипповна вошла в какие-то неопределенные и секретные от всех сношения с девицами Епанчиными, — слух совершенно невероятный. Зато другому слуху он невольно верил и боялся его до кошмара: он слышал за верное, что Настасья Филипповна будто бы в высшей степени знает, что Ганя женится только на деньгах, что у Гани душа черная, алчная, нетерпеливая, завистливая и необъятно, не пропорционально ни с чем самолюбивая; что Ганя хотя и действительно страстно добивался победы над Настасьей Филипповной прежде, но когда оба друга решились эксплуатировать эту страсть, начинавшуюся с обеих сторон, в свою пользу и купить Ганю продажей ему Настасьи Филипповны в законные жены, то он возненавидел ее, как свой кошмар. В его душе будто бы странно сошлись страсть и ненависть, и он хотя и дал наконец, после мучительных колебаний, согласие жениться на «скверной женщине», но сам поклялся в душе горько отомстить ей за это и «доехать» ее потом, как он будто бы сам выразился. Всё это Настасья Филипповна будто бы знала и что-то втайне готовила. Тоцкий до того было уже струсил, что даже и Епанчину перестал сообщать о своих беспокойствах; но бывали мгновения, что он, как слабый человек, решительно вновь ободрялся и быстро воскресал духом: он ободрился, например, чрезвычайно, когда Настасья Фи-

липповна дала наконец слово обоим друзьям, что вечером, в день своего рождения, скажет последнее слово. Зато самый странный и самый невероятный слух, касавшийся самого уважаемого Ивана Федоровича, увы! всё более и более оказывался верным.

Тут с первого взгляда всё казалось чистейшею дичью. Трудно было поверить, что будто бы Иван Федорович, на старости своих почтенных лет, при своем превосходном уме и положительном знании жизни и пр., и пр., соблазнился сам Настасьей Филипповной, — но так будто бы, до такой будто бы степени, что этот каприз почти походил на страсть. На что он надеялся в этом случае — трудно себе и представить; может быть, даже на содействие самого Гани. Тощкому подозревалось по крайней мере что-то в этом роде, подозревалось существование какого-то почти безмолвного договора, основанного на взаимном проникновении, между генералом и Ганей. Впрочем, известно, что человек, слишком увлекшийся страстью, особенно если он в годах, совершенно слепнет и готов подозревать надежду там, где вовсе ее и нет; мало того, теряет рассудок и действует, как глупый ребенок, хотя бы и был семи пядей во лбу. Известно было, что генерал приготовил ко дню рождения Настасьи Филипповны от себя в подарок удивительный жемчуг, стоивший огромной суммы, и подарком этим очень интересовался, хотя и знал, что Настасья Филипповна — женщина бескорыстная. Накануне дня рождения Настасьи Филипповны он был как в лихорадке, хотя и ловко скрывал себя. Об этом-то именно жемчуге и прослышала генеральша Епанчина. Правда, Елизавета Прокофьевна уже с давних пор начала испытывать ветреность своего супруга, даже отчасти привыкла к ней; но ведь невозможно же было пропустить такой случай: слух о жемчуге чрезвычайно интересовал ее. Генерал выследил это заблаговременно; еще накануне были сказаны иные словечки: он предчувствовал объяснение капитальное и боялся его. Вот почему ему ужасно не хотелось в то утро, с которого мы начали рассказ, идти завтракать в недра семейства. Еще до князя он положил отговориться делами и избежать. Избежать у генерала иногда значило просто-запросто убежать. Ему хоть один этот день и, главное, сегодняшний вечер хотелось выиграть без неприятностей. И вдруг так кстати пришелся князь. «Точно Бог послал!» — подумал генерал про себя, входя к своей супруге.

Генеральша была ревнива к своему происхождению. Каково же ей было, прямо и без приготовления, услышать, что этот последний в роде князь Мышкин, о котором она уже что-то слышала, не больше как жалкий идиот и почти что нищий и принимает подавание на бедность. Генерал именно бил на эффект, чтобы разом заинтересовать, отвлечь всё как-нибудь в другую сторону.

В крайних случаях генеральша обыкновенно чрезвычайно выкатывала глаза и, несколько откинувшись назад корпусом, неопределенно смотрела перед собой, не говоря ни слова. Это была рослая женщина, одних лет с своим мужем, с темными, с большою проседью, но еще густыми волосами, с несколько горбатым носом, сухощавая, с желтыми, ввалившимися щеками и тонкими, впалыми губами. Лоб ее был высок, но узок; серые, довольно большие глаза имели самое неожиданное иногда выражение. Когда-то у ней была слабость поверить, что взгляд ее необыкновенно эффектен; это убеждение осталось в ней неизгладимо.

— Принять? Вы говорите, его принять, теперь, сейчас? — и генеральша изо всех сил выкатила свои глаза на суетившегося пред ней Ивана Федоровича.

— О, на этот счет можно без всякой церемонии, если только тебе, мой друг, угодно его видеть, — спешил разъяснить генерал. — Совершенный ребенок, и даже такой жалкий; припадки у него какие-то болезненные; он сейчас из Швейцарии, только что из вагона, одет странно, как-то по-немецкому, и вдобавок ни копейки, буквально; чуть не плачет. Я ему двадцать пять рублей подарил и хочу ему в канцелярии писарское местечко какое-нибудь у нас добыть. А вас, *mesdames*, прошу его попотчевать, потому что он, кажется, и голоден...

— Вы меня удивляете, — продолжала по-прежнему генеральша, — голоден и припадки! Какие припадки?

— О, они не повторяются так часто, и притом он почти как ребенок, впрочем образованный. Я было вас, *mesdames*, — обратился он опять к дочерям, — хотел попросить проэкзаменовать его, все-таки хорошо бы узнать, к чему он способен.

— Про-эк-за-ме-но-вать? — протянула генеральша и в глубочайшем изумлении стала опять перекачивать глаза с дочерей на мужа и обратно.

— Ах, друг мой, не придавай такого смыслу... впрочем, ведь как тебе угодно; я имел в виду обласкать его и ввести к нам, потому что это почти доброе дело.

— Ввести к нам? Из Швейцарии?!

— Швейцария тут не помешает; а впрочем, повторяю, как хочешь. Я ведь потому, что, во-первых, однофамилец и, может быть, даже родственник, а во-вторых, не знает, где главу приклонить. Я даже подумал, что тебе несколько интересно будет, так как все-таки из нашей фамилии.

— Разумеется, тамап, если с ним можно без церемонии; к тому же он с дороги есть хочет, почему не накормить, если он не знает куда деваться? — сказала старшая, Александра.

— И вдобавок дитя совершенное, с ним можно еще в жмурки играть.

— В жмурки играть? Каким образом?

— Ах, тамап, перестаньте представляться, пожалуйста, — с досадой перебила Аглая.

Средняя, Аделаида, смешливая, не выдержала и рассмеялась.

— Позовите его, рара, тамап позволяет, — решила Аглая. Генерал позвонил и велел звать князя.

— Но с тем чтобы непременно завязать ему салфетку на шее, когда он сядет за стол, — решила генеральша, — позвать Федора, или пусть Мавра... чтобы стоять за ним и смотреть за ним, когда он будет есть. Спокоен ли он по крайней мере в припадках? Не делает ли жестов?

— Напротив, даже очень мило воспитан и с прекрасными манерами. Немного слишком простоват иногда... Да вот он и сам! Вот-с, рекомендую, последний в роде князь Мышкин, однофамилец и, может быть, даже родственник, примите, обласкайте. Сейчас пойдут завтракать, князь, так сделайте честь... А я уж, извините, опоздал, спешу...

— Известно, куда вы спешите, — важно проговорила генеральша.

— Спешу, спешу, мой друг, опоздал! Да дайте ему ваши альбомы, mesdames, пусть он вам там напишет; какой он каллиграф, так на редкость! Талант; там он так у меня расчеркнулся старинным почерком: «Игумен Пафнутий руку приложил»... Ну, до свидания.

— Пафнутий? Игумен? Да постойте, постойте, куда вы и какой там Пафнутий? — с настойчивою досадой и чуть не в тревоге прокричала генеральша убежавшему супругу.

— Да, да, друг мой, это такой в старину был игумен... а я к графу, ждет, давно, и, главное, сам назначил... Князь, до свидания!

Генерал быстрыми шагами удалился.

— Знаю я, к какому он графу! — резко проговорила Елизавета Прокофьевна и раздражительно перевела глаза на князя. — Что бишь! — начала она, брезгливо и досадливо припоминая, — ну, что там! Ах да: ну, какой там игумен?

— Матап, — начала было Александра, а Аглая даже топнула ножкой.

— Не мешайте мне, Александра Ивановна, — отчеканила ей генеральша, — я тоже хочу знать. Садитесь вот тут, князь, вот на этом кресле, напротив, нет, сюда, к солнцу, к свету ближе подвиньтесь, чтоб я могла видеть. Ну, какой там игумен?

— Игумен Пафнутий, — отвечал князь внимательно и серьезно.

— Пафнутий? Это интересно; ну, что же он?

Генеральша спрашивала нетерпеливо, быстро, резко, не сводя глаз с князя, а когда князь отвечал, она кивала головой вслед за каждым его словом.

— Игумен Пафнутий, четырнадцатого столетия, — начал князь, — он правил пустынью на Волге, в нынешней нашей Костромской губернии. Известен был святою жизнью, ездил в Орду, помогал устраивать тогдашние дела и подписался под одною грамотой, а снимок с этой подписи я видел. Мне понравился почерк, и я его заучил. Когда давеча генерал захотел посмотреть, как я пишу, чтоб определить меня к месту, то я написал несколько фраз разными шрифтами, и между прочим «Игумен Пафнутий руку приложил» собственным почерком игумена Пафнутия. Генералу очень понравилось, вот он теперь и вспомнил.

— Аглая, — сказала генеральша, — запомни: Пафнутий, или лучше запиши, а то я всегда забываю. Впрочем, я думала, будет интереснее. Где же эта подпись?

— Осталась, кажется, в кабинете у генерала, на столе.

— Сейчас же послать и принести.

— Да я вам лучше другой раз напишу, если вам угодно.

— Конечно, матап, — сказала Александра, — а теперь лучше бы завтракать; мы есть хотим.

— И то, — решила генеральша. — Пойдемте, князь; вы очень хотите кушать?

— Да, теперь захотел очень и очень вам благодарен.

— Это очень хорошо, что вы вежливы, и я замечаю, что вы вовсе не такой... чудак, каким вас изволили отрекомендовать. Пойдемте. Садитесь вот здесь, напротив меня, — хлопотала она, усаживая князя, когда пришли в столовую, — я хочу на вас смотреть. Александра, Аделаида, потчуйте князя. Не правда ли, что он вовсе не такой... больной? Может, и салфетку не надо... Вам князь, подвязывали салфетку за кушаньем?

— Прежде, когда я лет семи был, кажется, подвязывали, а теперь я обыкновенно к себе на колени салфетку кладу, когда ем.

— Так и надо. А припадки?

— Припадки? — удивился немного князь, — припадки теперь у меня довольно редко бывают. Впрочем, не знаю; говорят, здешний климат мне будет вреден.

— Он хорошо говорит, — заметила генеральша, обращаясь к дочерям и продолжая кивать головой вслед за каждым словом князя, — я даже не ожидала. Стало быть, всё пустяки и неправда; по обыкновению. Кушайте, князь, и рассказывайте: где вы родились, где воспитывались? Я хочу всё знать; вы чрезвычайно меня интересуете.

Князь поблагодарил и, кушая с большим аппетитом, стал снова передавать всё то, о чем ему уже неоднократно приходилось говорить в это утро. Генеральша становилась всё довольнее и довольнее. Девушки тоже довольно внимательно слушали. Сочлись родней; оказалось, что князь знал свою родословную довольно хорошо; но как ни подводили, а между ним и генеральшей не оказалось почти никакого родства. Между дедами и бабками можно бы было еще счестся отдаленным родством. Эта сухая материя особенно понравилась генеральше, которой почти никогда не удавалось говорить о своей родословной, при всем желании, так что она встала из-за стола в возбужденном состоянии духа.

— Пойдемте все в нашу сборную, — сказала она, — и кофе туда принесут. У нас такая общая комната есть, — обратилась она к князю, уводя его, — попросту моя маленькая гостиная, где мы, когда одни сидим, собираемся и каждая своим делом занимается: Александра, вот эта, моя

старшая дочь, на фортепиано играет, или читает, или шьет; Аделаида — пейзажи и портреты пишет (и ничего кончить не может), а Аглая сидит, ничего не делает. У меня тоже дело из рук валится: ничего не выходит. Ну вот и пришли; садитесь, князь, сюда, к камину, и рассказывайте. Я хочу знать, как вы рассказываете что-нибудь. Я хочу вполне убедиться, и когда с княгиней Белоконской увижусь, со старухой, ей про вас всё расскажу. Я хочу, чтобы вы их всех тоже заинтересовали. Ну, говорите же.

— Мама, да ведь этак очень странно рассказывать, — заметила Аделаида, которая тем временем поправила свой мольберт, взяла кисти, палитру и принялась было копировать давно уже начатый пейзаж с эстампа. Александра и Аглая сели вместе на маленьком диване и, сложа руки, приготовились слушать разговор. Князь заметил, что на него со всех сторон устремлено особенное внимание.

— Я бы ничего не рассказала, если бы мне так велели, — заметила Аглая.

— Почему? Что тут странного? Отчего ему не рассказывать? Язык есть. Я хочу знать, как он умеет говорить. Ну, о чем-нибудь. Расскажите, как вам понравилась Швейцария, первое впечатление. Вот вы увидите, вот он сейчас начнет, и прекрасно начнет.

— Впечатление было сильное... — начал было князь.

— Вот-вот, — подхватила нетерпеливая Лизавета Прокофьевна, обращаясь к дочерям, — начал же.

— Дайте же ему по крайней мере, мама, говорить, — остановила ее Александра. — Этот князь, может быть, большой плут, а вовсе не идиот, — шепнула она Аглае.

— Наверно так, я давно это вижу, — ответила Аглая. — И подло с его стороны роль разыгрывать. Что он, выигрывать, что ли, этим хочет?

— Первое впечатление было очень сильное, — повторил князь. — Когда меня везли из России, чрез разные немецкие города, я только молча смотрел и, помню, даже ни о чем не расспрашивал. Это было после ряда сильных и мучительных припадков моей болезни, а я всегда, если болезнь усиливалась и припадки повторялись несколько раз сряду, впадал в полное оцепенение, терял совершенно память, а ум хотя и работал, но логическое течение мысли как бы обрывалось. Больше двух или трех идей последовательно я не мог связать сряду. Так мне кажется. Когда

же припадки утихали, я опять становился и здоров и силен, вот как теперь. Помню: грусть во мне была нестерпимая; мне даже хотелось плакать; я всё удивлялся и беспокоился: ужасно на меня подействовало, что всё это *чужое*; это я понял. Чужое меня убивало. Совершенно пробудился я от этого мрака, помню я, вечером, в Базеле, при въезде в Швейцарию, и меня разбудил крик осла на городском рынке. Осел ужасно поразил меня и необыкновенно почему-то мне понравился, а с тем вместе вдруг в моей голове как бы всё прояснело.

— Осел? Это странно, — заметила генеральша. — А впрочем, ничего нет странного, иная из нас в осла еще влюбится, — заметила она, гневливо посмотрев на смеявшихся девиц. — Это еще в мифологии было. Продолжайте, князь.

— С тех пор я ужасно люблю ослов. Это даже какая-то во мне симпатия. Я стал о них расспрашивать, потому что прежде их не видывал, и тотчас же сам убедился, что это преползнейшее животное, рабочее, сильное, терпеливое, дешевое, переносливое; и чрез этого осла мне вдруг вся Швейцария стала нравиться, так что совершенно прошла прежняя грусть.

— Всё это очень странно, но об осле можно и пропустить; перейдемте на другую тему. Чего ты всё смеешься, Аглая? И ты, Аделаида? Князь прекрасно рассказал об осле. Он сам его видел, а ты что видела? Ты не была за границей?

— Я осла видела, тапан, — сказала Аделаида.

— А я и слышала, — подхватила Аглая. Все три опять засмеялись. Князь засмеялся вместе с ними.

— Это очень дурно с вашей стороны, — заметила генеральша. — Вы их извините, князь, а они добрые. Я с ними вечно бранюсь, но я их люблю. Они ветрены, легкомысленны, сумасшедшие.

— Почему же? — смеялся князь. — И я бы не упустил на их месте случай. А я все-таки стою за осла: осел добрый и полезный человек.

— А вы добрый, князь? Я из любопытства спрашиваю, — спросила генеральша.

Все опять засмеялись.

— Опять этот проклятый осел подвернулся; я о нем и не думала! — вскрикнула генеральша. — Поверьте мне, пожалуйста, князь, я без всякого...

— Намека? О, верю, без сомнения!

И князь смеялся не переставая.

— Это очень хорошо, что вы смеетесь. Я вижу, что вы добрейший молодой человек, — сказала генеральша.

— Иногда недобрый, — отвечал князь.

— А я добрая, — неожиданно вставила генеральша, — и, если хотите, я всегда добрая, и это мой единственный недостаток, потому что не надо быть всегда доброю. Я злюсь очень часто, вот на них, на Ивана Федоровича особенно, но скверно то, что я всего добрее, когда злюсь. Я давеча, пред вашим приходом, рассердилась и представилась, что ничего не понимаю и понять не могу. Это со мной бывает; точно ребенок. Аглая мне урок дала; спасибо тебе, Аглая. Впрочем, всё вздор. Я еще не так глупа, как кажусь и как меня дочки представить хотят. Я с характером и не очень стыдлива. Я, впрочем, это без злобы говорю. Поди сюда, Аглая, поцелуй меня, ну... и довольно нежностей, — заметила она, когда Аглая с чувством поцеловала ее в губы и в руку. — Продолжайте, князь. Может быть, что-нибудь и поинтереснее осла вспомните.

— Я опять-таки не понимаю, как это можно так прямо рассказывать, — заметила опять Аделаида, — я бы никак не нашлась.

— А князь найдет, потому что князь чрезвычайно умен и умнее тебя по крайней мере в десять раз, а может, и в двенадцать. Надеюсь, ты почувствуешь после этого. Докажите им это, князь; продолжайте. Осла и в самом деле можно наконец мимо. Ну, что вы, кроме осла, за границей видели?

— Да и об осле было умно, — заметила Александра, — князь рассказал очень интересно свой болезненный случай и как всё понравилось чрез один внешний толчок. Мне всегда было интересно, как люди сходят с ума и потом опять выздоравливают. Особенно если это вдруг делается.

— Не правда ли? Не правда ли? — вскинулась генеральша. — Я вижу, что и ты иногда бываешь умна; ну, довольно смеяться! Вы остановились, кажется, на швейцарской природе, князь, ну!

— Мы приехали в Люцерн, и меня повезли по озеру. Я чувствовал, как оно хорошо, но мне ужасно было тяжело при этом, — сказал князь.

— Почему? — спросила Александра.

— Не понимаю. Мне всегда тяжело и беспокойно смотреть на такую природу в первый раз; и хорошо, и спокойно; впрочем, всё это еще в болезни было.

— Ну нет, я бы очень хотела посмотреть, — сказала Аделаида. — И не понимаю, когда мы за границу соберемся. Я вот сюжета для картины два года найти не могу:

Восток и Юг давно описан...

Найдите мне, князь, сюжет для картины.

— Я в этом ничего не понимаю. Мне кажется: взглянуть и писать.

— Взглянуть не умею.

— Да что вы загадки-то говорите? Ничего не понимаю! — перебила генеральша. — Как это взглянуть не умею? Есть глаза, и гляди. Не умеешь здесь взглянуть, так и за границей не выучишься. Лучше расскажите-ка, как вы сами-то глядели, князь.

— Вот это лучше будет, — прибавила Аделаида. — Князь ведь за границей выучился глядеть.

— Не знаю; я там только здоровье поправил; не знаю, научился ли я глядеть. Я, впрочем, почти всё время был очень счастлив.

— Счастлив! Вы умеете быть счастливым? — вскричала Аглая. — Так как же вы говорите, что не научились глядеть? Еще нас поучите.

— Научите, пожалуйста, — смеялась Аделаида.

— Ничему не могу научить, — смеялся и князь, — я всё почти время за границей прожил в этой швейцарской деревне; редко выезжал куда-нибудь недалеко; чему же я вас научу? Сначала мне было только нескучно; я стал скоро выздоравливать; потом мне каждый день становился дорог, и чем дальше, тем дороже, так что я стал это замечать. Ложился спать я очень довольный, а вставал еще счастливее. А почему это всё — довольно трудно рассказать.

— Так что вам уж никуда и не хотелось, никуда вас не позывало? — спросила Александра.

— Сначала, с самого начала, да, позывало, и я впадал в большое беспокойство. Всё думал, как я буду жить; свою судьбу хотел испытать, особенно в иные минуты бывал беспокоен. Вы знаете, такие минуты есть, особенно в уединении. У нас там водопад был, небольшой, высоко с горы

падал и такою тонкою ниткой, почти перпендикулярно, — белый, шумливый, пенистый; падал высоко, а казалось, довольно низко, был в полверсте, а казалось, что до него пятьдесят шагов. Я по ночам любил слушать его шум; вот в эти минуты доходил иногда до большого беспокойства. Тоже иногда в полдень, когда зайдешь куда-нибудь в горы, станешь один посредине горы, кругом сосны, старые, большие, смолистые; вверху на скале старый замок средневековый, развалины; наша деревенька далеко внизу, чуть видна; солнце яркое, небо голубое, тишина страшная. Вот тут-то, бывало, и зовет всё куда-то, и мне всё казалось, что если пойти всё прямо, идти долго-долго и зайти вот за эту линию, за ту самую, где небо с землей встречается, то там вся и разгадка, и тотчас же новую жизнь увидишь, в тысячу раз сильней и шумней, чем у нас; такой большой город мне всё мечтался, как Неаполь, в нем всё дворцы, шум, гром, жизнь... Да мало ли что мечталось! А потом мне показалось, что и в тюрьме можно огромную жизнь найти.

— Последнюю похвальную мысль я еще в моей «Хрестоматии», когда мне двенадцать лет было, читала, — сказала Аглая.

— Это всё философия, — заметила Аделаида, — вы философ и нас приехали поучать.

— Вы, может, и правы, — улынулся князь, — я действительно, пожалуй, философ, и кто знает, может, и в самом деле мысль имею поучать... Это может быть; право, может быть.

— И философия ваша точно такая же, как у Евлампии Николавны, — подхватила опять Аглая, — такая чиновница, вдова, к нам ходит, вроде приживалки. У ней вся задача в жизни — дешевизна; только чтоб было дешевле прожить, только о копейках и говорит, и, заметьте, у ней деньги есть, она плутовка. Так точно и ваша огромная жизнь в тюрьме, а может быть, и ваше четырехлетнее счастье в деревне, за которое вы ваш город Неаполь продали, и, кажется, с барышом, несмотря на то что на копейки.

— Насчет жизни в тюрьме можно еще и не согласиться, — сказал князь, — я слышал один рассказ человека, который просидел в тюрьме лет двенадцать; это был один из больных, у моего профессора и лечился. У него были припадочки, он был иногда беспокоен, плакал и даже пытался раз убить себя. Жизнь его в тюрьме была очень грустная, уве-

ряю вас, но, уж конечно, не копеечная. А всё знакомство-то у него было с пауком да с деревцем, что под окном выросло... Но я вам лучше расскажу про другую мою встречу прошлого года с одним человеком. Тут одно обстоятельство очень странное было, — странное тем, собственно, что случай такой очень редко бывает. Этот человек был раз взведен, вместе с другими, на эшафот, и ему прочитан был приговор смертной казни расстрелянием, за политическое преступление. Минут через двадцать прочтено было и помилование и назначена другая степень наказания; но, однако же, в промежутке между двумя приговорами, двадцать минут или по крайней мере четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет. Мне ужасно хотелось слушать, когда он иногда припоминал свои тогдашние впечатления, и я несколько раз начинал его вновь расспрашивать. Он помнил всё с необыкновенною ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет. Шагах в двадцати от эшафота, около которого стоял народ и солдаты, были врыты три столба, так как преступников было несколько человек. Трех первых повели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм (белые длинные балахоны), а на глаза надвинули им белые колпаки, чтобы не видно было ружей; затем против каждого столба выстроилась команда из нескольких человек солдат. Мой знакомый стоял восьмым по очереди, стало быть, ему приходилось идти к столбам в третью очередь. Священник обошел всех с крестом. Выходило, что остается жить минут пять, не больше. Он говорил, что эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством; ему казалось, что в эти пять минут он проживет столько жизней, что еще сейчас нечего и думать о последнем мгновении, так что он еще распоряжения разные сделал: рассчитал время, чтобы проститься с товарищами, на это положил минуты две, потом две минуты еще положил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть. Он очень хорошо помнил, что сделал именно эти три распоряжения и именно так рассчитал. Он умирал двадцати семи лет, здоровый и сильный; прощаясь с товарищами, он помнил, что одному из них задал довольно посторонний вопрос и даже очень заинтересовался ответом. Потом, когда он простился с то-

варищами, настали те две минуты, которые он отсчитал, чтобы *думать про себя*; он знал заранее, о чем он будет думать: ему всё хотелось представить себе как можно скорее и ярче, что вот как же это так: он теперь есть и живет, а через три минуты будет уже *ничто*, кто-то или что-то, — так кто же? где же? Всё это он думал в эти две минуты решить! Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченною крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей; ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он чрез три минуты как-нибудь сольется с ними... Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны; но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжелее, как непрерывная мысль: «Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь, — какая бесконечность! И всё это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!». Он говорил, что эта мысль у него наконец в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтобы его поскорей застрелили.

Князь вдруг замолчал; все ждали, что он будет продолжать и выведет заключение.

— Вы кончили? — спросила Аглая.

— Что? кончил, — сказал князь, выходя из минутной задумчивости.

— Да для чего же вы про это рассказали?

— Так... мне припомнилось... я к разговору...

— Вы очень обрывисты, — заметила Александра, — вы, князь, верно, хотели вывести, что ни одного мгновения на копейки ценить нельзя, и иногда пять минут дороже соколовища. Всё это похвально, но позвольте, однако же, как же этот приятель, который вам такие страсти рассказывал... ведь ему переменяли же наказание, стало быть, подарили же эту «бесконечную жизнь». Ну, что же он с этим богатством сделал потом? Жил ли каждую минуту «счетом»?

— О нет, он мне сам говорил, — я его уже про это спрашивал, — вовсе не так жил и много-много минут потерял.

— Ну, стало быть, вот вам и опыт, стало быть, и нельзя жить, взаправду «отсчитывая счетом». Почему-нибудь да нельзя же.

— Да, почему-нибудь да нельзя же, — повторил князь, — мне самому это казалось... А все-таки как-то не верится...

— То есть вы думаете, что умнее всех проживете? — сказала Аглая.

— Да, мне и это иногда думалось.

— И думается?

— И... думается, — отвечал князь, по-прежнему с тихою и даже робкою улыбкой смотря на Аглаю; но тотчас же рассмеялся опять и весело посмотрел на нее.

— Скромно! — сказала Аглая, почти раздражаясь.

— А какие, однако же, вы храбрые, вот вы смеетесь, а меня так всё это поразило в его рассказе, что я потом во сне видел, именно эти пять минут видел...

Он пытливо и серьезно еще раз обвел глазами своих слушательниц.

— Вы не сердитесь на меня за что-нибудь? — спросил он вдруг, как бы в замешательстве, но, однако же, прямо смотря всем в глаза.

— За что? — вскричали все три девицы в удивлении.

— Да вот, что я всё как будто учу...

Все засмеялись.

— Если сердитесь, то не сердитесь, — сказал он, — я ведь сам знаю, что меньше других жил и меньше всех понимаю в жизни. Я, может быть, иногда очень странно говорю...

И он решительно сконфузился.

— Коли говорите, что были счастливы, стало быть, жили не меньше, а больше; зачем же вы кривите и извиняетесь? — строго и привязчиво начала Аглая. — И не беспокойтесь, пожалуйста, что вы нас поучаете, тут никакого нет торжества с вашей стороны. С вашим квиетизмом можно и сто лет жизни счастьем наполнить. Вам покажи смертную казнь и покажи вам пальчик, вы из того и из другого одинаково похвальную мысль выведете да еще довольны останетесь. Этак можно прожить.

— За что ты всё злишься, не понимаю, — подхватила генеральша, давно наблюдавшая лица говоривших, — и о чем вы говорите, тоже не могу понять. Какой пальчик и что за вздор? Князь прекрасно говорит, только немного

грустно. Зачем ты его обескураживаешь? Он когда начал, то смеялся, а теперь совсем осовел.

— Ничего, тамап. А жаль, князь, что вы смертной казни не видели, я бы вас об одном спросила.

— Я видел смертную казнь, — отвечал князь.

— Видели? — вскричала Аглая. — Я бы должна была догадаться! Это венчает всё дело. Если видели, как же вы говорите, что всё время счастливо прожили? Ну, не правду ли я вам сказала?

— А разве в вашей деревне казнят? — спросила Аделаида.

— Я в Лионе видел, я туда с Шнейдером ездил, он меня брал. Как приехал, так и попал.

— Что же, вам очень понравилось? Много назидательного? Полезного? — спрашивала Аглая.

— Мне это вовсе не понравилось, и я после того немного болен был, но признаюсь, что смотрел как прикованный, глаз оторвать не мог.

— Я бы тоже глаз оторвать не могла, — сказала Аглая.

— Там очень не любят, когда женщины ходят смотреть, даже в газетах потом пишут об этих женщинах.

— Значит, коль находят, что это не женское дело, так тем самым хотят сказать (а стало быть, оправдать), что это дело мужское. Поздравляю за логику. И вы так же, конечно, думаете?

— Расскажите про смертную казнь, — перебила Аделаида.

— Мне бы очень не хотелось теперь... — смешался и как бы нахмурился князь.

— Вам точно жалко нам рассказывать, — кольнула Аглая.

— Нет, я потому, что я уже про эту самую смертную казнь давеча рассказывал.

— Кому рассказывали?

— Вашему камердинеру, когда дожидался...

— Какому камердинеру? — раздалось со всех сторон.

— А вот что в передней сидит, такой с проседью, красноватое лицо; я в передней сидел, чтобы к Ивану Федоровичу войти.

— Это странно, — заметила генеральша.

— Князь — демократ, — отрезала Аглая, — ну, если Алексею рассказывали, нам уж не можете отказать.

— Я непременно хочу слышать, — повторила Аделаида.

— Давеча действительно, — обратился к ней князь, несколько опять одушевляясь (он, казалось, очень скоро и доверчиво одушевлялся), — действительно у меня мысль была, когда вы у меня сюжет для картины спрашивали, дать вам сюжет: нарисовать лицо приговоренного за минуту до удара гильотины, когда еще он на эшафоте стоит, пред тем как ложиться на эту доску.

— Как лицо? Одно лицо? — спросила Аделаида. — Странный будет сюжет, и какая же тут картина?

— Не знаю, почему же? — с жаром настаивал князь. Я в Базеле недавно одну такую картину видел. Мне очень хочется вам рассказать... Я когда-нибудь расскажу... очень меня поразила.

— О базельской картине вы непременно расскажете после, — сказала Аделаида, — а теперь растолкуйте мне картину из этой казни. Можете передать так, как вы это себе представляете? Как же это лицо нарисовать? Так, одно лицо? Какое же это лицо?

— Это ровно за минуту до смерти, — с полною готовностью начал князь, увлекаясь воспоминанием и, по-видимому, тотчас же забыв о всем остальном, — тот самый момент, когда он поднялся на лесенку и только что ступил на эшафот. Тут он взглянул в мою сторону; я поглядел на его лицо и всё понял... Впрочем, ведь как это рассказать! Мне ужасно бы, ужасно бы хотелось, чтобы вы или кто-нибудь это нарисовал! Лучше бы, если бы вы! Я тогда же подумал, что картина будет полезная. Знаете, тут нужно всё представить, что было заранее, всё, всё. Он жил в тюрьме и ждал казни по крайней мере еще чрез неделю; он как-то рассчитывал на обыкновенную формалистику, что бумага еще должна куда-то пойти и только чрез неделю выйдет. А тут вдруг по какому-то случаю дело было сокращено. В пять часов утра он спал. Это было в конце октября; в пять часов еще холодно и темно. Вошел тюремный пристав, тихонько, со стражей, и осторожно тронул его за плечо; тот приподнялся, облокотился, — видит свет: «Что такое?» — «В десятом часу смертная казнь». Он со сна не поверил, начал было спорить, что бумага выйдет чрез неделю, но когда совсем очнулся, перестал спорить и замолчал, — так рассказывали, — потом сказал: «Все-таки тяжело так вдруг...» — и опять замолк, и уже ничего не хотел говорить. Тут часа три-четыре проходят на известные

вещи: на священника, на завтрак, к которому ему вино, кофей и говядину дают (ну, не насмешка ли это? Ведь, подумаешь, как это жестоко, а с другой стороны, ей-богу, эти невинные люди от чистого сердца делают и уверены, что это человеколюбие), потом туалет (вы знаете, что такое туалет преступника?), наконец, везут по городу до эшафота... Я думаю, что вот тут тоже кажется, что еще бесконечно жить остается, пока везут. Мне кажется, он, наверно, думал дорогой: «Еще долго, еще жить три улицы остается; вот эту проеду, потом еще та останется, потом еще та, где булочник направо... еще когда-то доедем до булочника!». Кругом народ, крик, шум, десять тысяч лиц, десять тысяч глаз, всё это надо перенести, а главное, мысль: «Вот их десять тысяч, а их никого не казнят, а меня-то казнят!». Ну, вот это всё предварительно. На эшафот ведет лесенка; тут он пред лесенкой вдруг заплакал, а это был сильный и мужественный человек, большой злодей, говорят, был. С ним всё время неотлучно был священник, и в тележке с ним ехал, и все говорил, — вряд ли тот слышал: и начнет слушать, а с третьего слова уж не понимает. Так, должно быть. Наконец стал всходить на лесенку; тут ноги перевязаны, и потому движутся шагами мелкими. Священник, должно быть, человек умный, перестал говорить, а всё ему крест давал целовать. Внизу лесенки он был очень бледен, а как поднялся и стал на эшафот, стал вдруг белый как бумага, совершенно как белая писчая бумага. Наверно, у него ноги слабели и деревенели, и тошнота была, — как будто что его давит в горле, и от этого точно щекотно, — чувствовали вы это когда-нибудь в испуге или в очень страшные минуты, когда и весь рассудок остается, но никакой уже власти не имеет? Мне кажется, если, например, неминуемая гибель, дом на вас валится, то тут вдруг ужасно захочется сесть и закрыть глаза и ждать — будь что будет!.. Вот тут-то, когда начиналась эта слабость, священник поскорей, скорым таким жестом и молча, ему крест к самым губам вдруг подставлял, маленький такой крест, серебряный, четырехконечный, — часто подставлял, поминутно. И как только крест касался губ, он глаза открывал, и опять на несколько секунд как бы оживлялся, и ноги шли. Крест он с жадностью целовал, спешил целовать, точно спешил не забыть захватить что-то про запас, на всякий случай, но вряд ли в эту минуту что-нибудь религиозное сознавал.

И так было до самой доски... Странно, что редко в эти самые последние секунды в обморок падают! Напротив, голова ужасно живет и работает, должно быть, сильно, сильно, как машина в ходу; я воображаю, так и стучат разные мысли, всё неконченные, и может быть, и смешные, посторонние такие мысли: «Вот этот глядит — у него бородавка на лбу, вот у палача одна нижняя пуговица заржавела»... а между тем всё знаешь и всё помнишь; одна такая точка есть, которой никак нельзя забыть, и в обморок упасть нельзя, и всё около нее, около этой точки, ходит и вертится. И подумать, что это так до самой последней четверти секунды, когда уже голова на плахе лежит, и ждет, и... *знает*, и вдруг услышит над собой, как железо склизнуло! Это непременно услышишь! Я бы, если бы лежал, я бы нарочно слушал и слышал! Тут, может быть, только одна десятая доля мгновения, но непременно услышишь! И представьте же, до сих пор еще спорят, что, может быть, голова когда и отлетит, то еще с секунду, может быть, знает, что она отлетела, — каково понятие! А что если пять секунд!.. Нарисуйте эшафот так, чтобы видна была ясно и близко одна только последняя ступень; преступник ступил на нее: голова, лицо бледное как бумага, священник протягивает крест, тот с жадностью протягивает свои синие губы, и глядит, и — *всё знает*. Крест и голова — вот картина, лицо священника, палача, его двух служителей и несколько голов и глаз снизу, — всё это можно нарисовать как бы на третьем плане, в тумане, для аксессуара... Вот такая картина.

Князь замолк и поглядел на всех.

— Это, конечно, непохоже на квиетизм, — проговорила про себя Александра.

— Ну, теперь расскажите, как вы были влюблены, — сказала Аделаида.

Князь с удивлением посмотрел на нее.

— Слушайте, — как бы торопилась Аделаида, — за вами рассказ о базельской картине, но теперь я хочу слышать о том, как вы были влюблены; не отпирайтесь, вы были. К тому же вы, сейчас как начнете рассказывать, перестаете быть философом.

— Вы, как кончите рассказывать, тотчас же и застыдитесь того, что рассказали, — заметила вдруг Аглая. — Отчего это?

— Как это, наконец, глупо, — отрезала генеральша, с негодованием смотря на Аглаю.

— Не умно, — подтвердила Александра.

— Не верьте ей, князь, — обратилась к нему генеральша, — она это нарочно с какой-то злости делает; она вовсе не так глупо воспитана; не подумайте чего-нибудь, что они вас так тормозят. Они, верно, что-нибудь затеяли, но они уже вас любят. Я их лица знаю.

— И я их лица знаю, — сказал князь, особенно ударяя на свои слова.

— Это как? — спросила Аделаида с любопытством.

— Что вы знаете про наши лица? — залюбопытствовала и две другие.

Но князь молчал и был серьезен; все ждали его ответа.

— Я вам после скажу, — сказал он тихо и серьезно.

— Вы решительно хотите заинтересовать нас, — вскричала Аглая, — и какая торжественность!

— Ну, хорошо, — заторопилась опять Аделаида, — но если уж вы такой знаток лиц, то наверно были и влюблены: я, стало быть, угадала. Рассказывайте же.

— Я не был влюблен, — отвечал князь так же тихо и серьезно, — я был счастлив иначе.

— Как же, чем же?

— Хорошо, я вам расскажу, — проговорил князь как бы в глубоком раздумье.

VI

— Вот вы все теперь, — начал князь, — смотрите на меня с таким любопытством, что, не удовлетвори я его, вы на меня, пожалуй, и рассердитесь. Нет, я шучу, — прибавил он поскорее с улыбкой. — Там... там были всё дети, и я всё время был там с детьми, с одними детьми. Это были дети той деревни, вся ватага, которая в школе училась. Я не то чтоб учил их; о нет, там для этого был школьный учитель, Жюль Тибо; я, пожалуй, и учил их, но я больше так был с ними, и все мои четыре года так и прошли. Мне ничего другого не надобно было. Я им всё говорил, ничего от них не утаивал. Их отцы и родственники на меня рассердились все, потому что дети наконец без меня обойтись не могли и всё вокруг меня толпились, а школьный учитель даже стал мне наконец первым врагом. У меня много

стало там врагов, и всё из-за детей. Даже Шнейдер стыдил меня. И чего они так боялись? Ребенку можно всё говорить, — всё; меня всегда поражала мысль, как плохо знают большие детей, отцы и матери даже своих детей. От детей ничего не надо утаивать под предлогом, что они маленькие и что им рано знать. Какая грустная и несчастная мысль! И как хорошо сами дети подмечают, что отцы считают их слишком маленькими и ничего не понимающими, тогда как они всё понимают. Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет. О Боже! когда на вас глядит эта хорошенькая птичка, доверчиво и счастливо, вам ведь стыдно ее обмануть! Я потому их птичками зову, что лучше птички нет ничего на свете. Впрочем, на меня все в деревне рассердились больше по одному случаю... а Тибо просто мне завидовал; он сначала всё качал головой и дивился, как это дети у меня всё понимают, а у него почти ничего, а потом стал надо мной смеяться, когда я ему сказал, что мы оба их ничему не научим, а они еще нас научат. И как он мог мне завидовать и клеветать на меня, когда сам жил с детьми! Через детей душа лечится... Там был один больной в заведении Шнейдера, один очень несчастный человек. Это было такое ужасное несчастье, что подобное вряд ли и может быть. Он был отдан на излечение от помешательства; по-моему, он был не помешанный, он только ужасно страдал, — вот и вся его болезнь была. И если бы вы знали, чем стали под конец для него наши дети... Но я вам про этого больного потом лучше расскажу; я расскажу теперь, как это всё началось. Дети сначала меня не полюбили. Я был такой большой, я всегда такой мешковатый; я знаю, что я и собой дурен... наконец, и то, что я был иностранец. Дети надо мной сначала смеялись, а потом даже камнями в меня стали кидать, когда подглядели, что я поцеловал Мари. А я всего один раз поцеловал ее... Нет, не смейтесь, — поспешил остановить князь усмешку своих слушательниц, — тут вовсе не было любви. Если бы вы знали, какое это было несчастное создание, то вам бы самим стало ее очень жаль, как и мне. Она была из нашей деревни. Мать ее была старая старуха, и у ней, в их маленьком, совсем ветхом домишке, в два окна, было отгорожено одно окно, по дозволению деревенского начальства; из этого окна ей позволяли торговать снурками, нитками,

табаком, мылом, всё на самые мелкие гроши, тем она и пропитывалась. Она была больная, и у ней всё ноги пухли, так что всё сидела на месте. Мари была ее дочь, лет двадцати, слабая и худенькая; у ней давно начиналась чахотка, но она всё ходила по домам в тяжелую работу наниматься поденно — полы мыла, белье, дворы обметала, скот убирала. Один проезжий французский комми соблазнил ее и увез, а через неделю на дороге бросил одну и тихонько уехал. Она пришла домой, побираясь, вся испачканная, вся в лохмотьях, с ободранными башмаками; шла она пешком всю неделю, ночевала в поле и очень простудилась; ноги были в ранах, руки опухли и растрескались. Она, впрочем, и прежде была собой не хороша; глаза только были тихие, добрые, невинные. Молчалива была ужасно. Раз, прежде еще, она за работой вдруг запела, и я помню, что все удивились и стали смеяться: «Мари запела! Как? Мари запела!» — и она ужасно законфузилась и уж навек потом замолчала. Тогда еще ее ласкали, но когда она воротилась больная и истерзанная, никакого-то к ней сострадания не было ни в ком! Какие они на это жестокие! Какие у них тяжелые на это понятия! Мать, первая, приняла ее со злобой и с презреньем: «Ты меня теперь обесчестила». Она первая ее и выдала на позор: когда в деревне услышали, что Мари воротилась, то все побежали смотреть Мари, и чуть не вся деревня сбежалась в избу к старухе: старики, дети, женщины, девушки, все, такую торопливою, жадною толпой. Мари лежала на полу, у ног старухи, голодная, оборванная, и плакала. Когда все набежали, она закрылась своими разбившимися волосами и так и приникла ничком к полу. Все кругом смотрели на нее как на гадину; старики осуждали и бранили, молодые даже смеялись, женщины бранили ее, осуждали, смотрели с презреньем таким, как на паука какого. Мать всё это позволила, сама тут сидела, кивала головой и одобряла. Мать в то время уж очень больна была и почти умирала; чрез два месяца она и в самом деле померла; она знала, что она умирает, но все-таки с дочерью помириться не подумала до самой смерти, даже не говорила с ней ни слова, гнала спать в сени, даже почти не кормила. Ей нужно было часто ставить свои больные ноги в теплую воду; Мари каждый день обмывала ей ноги и ходила за ней; она принимала все ее услуги молча и ни одного слова не сказала

ей ласково. Мари всё переносила, и я потом, когда познакомился с нею, заметил, что она и сама всё это одобряла, и сама считала себя за какую-то самую последнюю тварь. Когда старуха слегла совсем, то за ней пришли ухаживать деревенские старухи, по очереди, так там устроено. Тогда Мари совсем уже перестали кормить; а в деревне все ее гнали и никто даже ей работы не хотел дать, как прежде. Все точно плевали на нее, а мужчины даже за женщину перестали ее считать, всё такие скверности ей говорили. Иногда, очень редко, когда пьяные напивались в воскресенье, для смеху бросали ей гроши, так, прямо на землю; Мари молча поднимала. Она уже тогда начала кашлять кровью. Наконец ее отрепья стали уж совсем лохмотьями, так что стыдно было показаться в деревне; ходила же она с самого возвращения босая. Вот тут-то, особенно дети, всею ватагой, — их было человек сорок с лишком школьников, — стали дразнить ее и даже грязью в нее кидали. Она попросилась к пастуху, чтобы пустил ее коров стеречь, но пастух прогнал. Тогда она сама, без позволения, стала со стадом уходить на целый день из дому. Так как она очень много пользы приносила пастуху и он заметил это, то уж и не прогонял ее и иногда даже ей остатки от своего обеда давал, сыру и хлеба. Он это за великую милость с своей стороны почитал. Когда же мать померла, то пастор в церкви не постыдился всенародно опозорить Мари. Мари стояла за гробом, как была, в своих лохмотьях, и плакала. Сошлось много народу смотреть, как она будет плакать и за гробом идти; тогда пастор, — он еще был молодой человек, и вся его амбиция была сделаться большим проповедником, — обратился ко всем и указал на Мари. «Вот кто была причиной смерти этой почтенной женщины» (и неправда, потому что та уже два года была больна), «вот она стоит пред вами и не смеет взглянуть, потому что она отмечена перстом Божиим; вот она босая и в лохмотьях, — пример тем, которые теряют добродетель! Кто же она? Это дочь ее!», и всё в этом роде. И представьте, эта низость почти всем им понравилась, но... тут вышла особенная история; тут вступились дети, потому что в это время дети были все уже на моей стороне и стали любить Мари. Это вот как вышло. Мне захотелось что-нибудь сделать Мари; ей очень надо было денег дать, но денег там у меня никогда не было ни копейки. У меня была маленькая

бриллиантовая булавка, и я ее продал одному перекупщику: он по деревням ездил и старым платьем торговал. Он мне дал восемь франков, а она стоила верных сорок. Я долго старался встретить Мари одну; наконец мы встретились за деревней, у изгороди, на боковой тропинке в гору, за деревом. Тут я ей дал восемь франков и сказал ей, чтоб она берегла, потому что у меня больше уж не будет, а потом поцеловал ее и сказал, чтоб она не думала, что у меня какое-нибудь нехорошее намерение, и что целую я ее не потому, что влюблен в нее, а потому, что мне ее очень жаль и что я с самого начала ее нисколько за виноватую не почитал, а только за несчастную. Мне очень хотелось тут же и утешить и уверить ее, что она не должна себя такую низкою считать пред всеми, но она, кажется, не поняла. Я это сейчас заметил, хотя она всё время почти молчала и стояла предо мной, потупив глаза и ужасно стыдясь. Когда я кончил, она мне руку поцеловала, и я тотчас же взял ее руку и хотел поцеловать, но она поскорей отдернула. Вдруг в это время нас подглядели дети, целая толпа; я потом узнал, что они давно за мной подсматривали. Они начали свистать, хлопать в ладошки и смеяться, а Мари бросилась бежать. Я хотел было говорить, но они в меня стали камнями кидать. В тот же день все узнали, вся деревня; всё обрушилось опять на Мари: ее еще пуще стали не любить. Я слышал даже, что ее хотели присудить к наказанию, но, слава Богу, прошло так; зато уж дети ей проходу не стали давать, дразнили пуще прежнего, грязью кидались; гонят ее, она бежит от них с своею слабою грудью, задохнется, они за ней, кричат, бранятся. Один раз я даже бросился с ними драться. Потом я стал им говорить, говорил каждый день, когда только мог. Они иногда останавливались и слушали, хотя всё еще бранились. Я им рассказал, какая Мари несчастная; скоро они перестали браниться и стали отходить молча. Мало-помалу мы стали разговаривать, я от них ничего не таил; я им всё рассказал. Они очень любопытно слушали и скоро стали жалеть Мари. Иные, встречаясь с нею, стали ласково с нею здороваться; там в обычае, встречая друг друга, — знакомые или нет, — кланяться и говорить: «Здравствуйте». Воображаю, как Мари удивлялась. Однажды две девочки достали кушанья и снесли к ней, отдали, пришли и мне сказали. Они говорили, что Мари расплакалась и что они теперь ее очень

любят. Скоро и все стали любить ее, а вместе с тем и меня вдруг стали любить. Они стали часто приходить ко мне и всё просили, чтоб я им рассказывал; мне кажется, что я хорошо рассказывал, потому что они очень любили меня слушать. А впоследствии я и учился и читал всё только для того, чтоб им потом рассказать, и все три года потом я им рассказывал. Когда потом все меня обвиняли, — Шнейдер тоже, — зачем я с ними говорю как с большими и ничего от них не скрываю, то я им отвечал, что лгать им стыдно, что они и без того всё знают, как ни таи от них, и узнают, пожалуй, скверно, а от меня не скверно узнают. Стоило только всякому вспомнить, как сам был ребенком. Они не согласны были... Я поцеловал Мари еще за две недели до того, как ее мать умерла; когда же пастор проповедь говорил, то все дети были уже на моей стороне. Я им тотчас же рассказал и растолковал поступок пастора; все на него рассердились, а некоторые до того, что ему камнями стекла в окнах разбили. Я их остановил, потому что уж это было дурно; но тотчас же в деревне все всё узнали, и вот тут и начали обвинять меня, что я испортил детей. Потом все узнали, что дети любят Мари, и ужасно перепугались; но Мари уже была счастлива. Детям запретили даже и встречаться с нею, но они бегали потихоньку к ней в стадо, довольно далеко, почти в полверсте от деревни; они носили ей гостинцев, а иные просто прибегали для того, чтоб обнять ее, поцеловать, сказать: «Je vous aime, Marie!»¹ — и потом стремглав бежать назад. Мари чуть с ума не сошла от такого внезапного счастья; ей это даже и не грезилося; она стыдилась и радовалась, а главное, детям хотелось, особенно девочкам, бегать к ней, чтобы передавать ей, что я ее люблю и очень много о ней им говорю. Они ей рассказали, что это я им всё пересказал и что они теперь ее любят и жалеют, и всегда так будут. Потом забежали ко мне и с такими радостными, хлопотливыми личиками передавали, что они сейчас видели Мари и что Мари мне кланяется. По вечерам я ходил к водопаду; там было одно совсем закрытое со стороны деревни место, и кругом росли тополи; туда-то они ко мне по вечерам и сбегались, иные даже украдкой. Мне кажется, для них была ужасным наслаждением моя любовь к Мари, и вот в этом одном, во всю тамошнюю жизнь мою, я и обманул их. Я не разуме-

¹ «Я вас люблю, Мари!» (франц.)

рял их, что я вовсе не люблю Мари, то есть не влюблен в нее, что мне ее только очень жаль было; я по всему видел, что им так больше хотелось, как они сами вообразили и положили промеж себя, и потому молчал и показывал вид, что они угадали. И до какой степени были деликатны и нежны эти маленькие сердца: им, между прочим, показалось невозможным, что их добрый Léon так любит Мари, а Мари так дурно одета и без башмаков. Представьте себе, они достали ей и башмаки, и чулки, и белье, и даже какое-то платье; как это они ухитрились, не понимаю; всею ватагой работали. Когда я их расспрашивал, они только весело смеялись, а девочки били в ладошки и целовали меня. Я иногда ходил тоже потихоньку повидаться с Мари. Она уж становилась очень больна и едва ходила; наконец перестала совсем служить пастуху, но все-таки каждое утро уходила со стадом. Она садилась в стороне; там у одной, почти прямой, отвесной скалы был выступ; она садилась в самый угол, от всех закрытый, на камень и сидела почти без движения весь день, с самого утра до того часа, когда стадо уходило. Она уже была так слаба от чахотки, что всё больше сидела с закрытыми глазами, прислонив голову к скале, и дремала, тяжело дыша; лицо ее похудело, как у скелета, и пот проступал на лбу и на висках. Так я всегда заставал ее. Я приходил на минуту, и мне тоже не хотелось, чтобы меня видели. Как я только показывался, Мари тотчас же вздрагивала, открывала глаза и бросалась целовать мне руки. Я уже не отнимал, потому что для нее это было счастьем; она всё время, как я сидел, дрожала и плакала; правда, несколько раз она принималась было говорить, но ее трудно было и понять. Она бывала как безумная, в ужасном волнении и восторге. Иногда дети приходили со мной. В таком случае они обыкновенно становились неподалеку и начинали нас стеречь от чего-то и от кого-то, и это было для них необыкновенно приятно. Когда мы уходили, Мари опять оставалась одна, по-прежнему без движения, закрыв глаза и прислоняясь головой к скале; она, может быть, о чем-нибудь грезилась. Однажды поутру она уже не могла выйти к стаду и осталась у себя в пустом своем доме. Дети тотчас же узнали и почти все перебивали у ней в этот день навестить ее; она лежала в своей постели одна-одинехонька. Два дня ухаживали за ней одни дети, забегая по очереди, но потом, когда в деревне прослыша-

ли, что Мари уже в самом деле умирает, то к ней стали ходить из деревни старухи, сидеть и дежурить. В деревне, кажется, стали жалеть Мари, по крайней мере детей уже не останавливали и не бранили, как прежде. Мари всё время была в дремоте, сон у ней был беспокойный: она ужасно кашляла. Старухи отгоняли детей, но те подбегали под окно, иногда только на одну минуту, чтобы только сказать: «*Bonjour, notre bonne Marie*».¹ А та, только завидит или заслышит их, вся оживлялась и тотчас же, не слушая старух, силилась приподняться на локоть, кивала им головой, благодарила. Они по-прежнему приносили ей гостинцев, но она почти ничего не ела. Через них, уверяю вас, она умерла почти счастливая. Через них она забыла свою черную беду, как бы прощение от них приняла, потому что до самого конца считала себя великою преступницею. Они, как птички, бились крылышками в ее окна и кричали ей каждое утро: «*Nous t'aimons, Marie*».² Она очень скоро умерла. Я думал, она гораздо дольше проживет. Накануне ее смерти, пред закатом солнца, я к ней заходил; кажется, она меня узнала, и я в последний раз пожал ее руку; как иссохла у ней рука! А тут вдруг наутро приходят и говорят мне, что Мари умерла. Тут детей и удержать нельзя было: они убрали ей весь гроб цветами и надели ей венок на голову. Пастор в церкви уже не срамил мертвую, да и на похоронах очень мало было, так только, из любопытства, зашли некоторые; но когда надо было нести гроб, то дети бросились все разом, чтобы самим нести. Так как они не могли снести, то помогали, все бежали за гробом и все плакали. С тех пор могилка Мари постоянно почиталась детьми: они убирают ее каждый год цветами, обсадили кругом розами. Но с этих похорон и началось на меня главное гонение всей деревни из-за детей. Главные зачинщики были пастор и школьный учитель. Детям решительно запретили даже встречаться со мной, а Шнейдер обязался даже смотреть за этим. Но мы все-таки виделись, издали объяснялись знаками. Они присылали мне свои маленькие записочки. Впоследствии это всё уладилось, но тогда было очень хорошо: я даже еще ближе сошелся с детьми через это гонение. В последний год я даже почти помирился с Тибо и с пастором. А Шнейдер много мне

¹ «Здравствуй, наша славная Мари» (франц.).

² «Мы тебя любим, Мари» (франц.).

говорил и спорил со мной о моей вредной «системе» с детьми. Какая у меня система! Наконец Шнейдер мне высказал одну очень странную свою мысль, — это уж было пред самым моим отъездом, — он сказал мне, что он вполне убедился, что я сам совершенный ребенок, то есть вполне ребенок, что я только ростом и лицом похож на взрослого, но что развитием, душой, характером и, может быть, даже умом я не взрослый, и так и останусь, хотя бы я до шестидесяти лет прожил. Я очень смеялся: он, конечно, не прав, потому что какой же я маленький? Но одно только правда, я и в самом деле не люблю быть со взрослыми, с людьми, с большими, — и это я давно заметил, — не люблю, потому что не умею. Что бы они ни говорили со мной, как бы добры ко мне ни были, все-таки с ними мне всегда тяжело почему-то, и я ужасно рад, когда могу уйти поскорее к товарищам, а товарищи мои всегда были дети, но не потому, что я сам был ребенок, а потому, что меня просто тянуло к детям. Когда я, еще в начале моего житья в деревне, — вот когда я уходил тосковать один в горы, — когда я, бродя один, стал встречать иногда, особенно в полдень, когда выпускали из школы, всю эту ватагу, шумную, бегущую с их мешочками и грифельными досками, с криком, со смехом, с играми, то вся душа моя начинала вдруг стремиться к ним. Не знаю, но я стал ощущать какое-то чрезвычайно сильное и счастливое ощущение при каждой встрече с ними. Я останавливался и смеялся от счастья, глядя на их маленькие, мелькающие и вечно бегущие ножки, на мальчиков и девочек, бегущих вместе, на смех и слезы (потому что многие уже успевали подраться, расплакаться, опять помириться и поиграть, покамест из школы до дому добежали), и я забывал тогда всю мою тоску. Потом же, во все эти три года, я и понять не мог, как тоскуют и зачем тоскуют люди? Вся судьба моя пошла на них. Я никогда и не рассчитывал покинуть деревню, и на ум мне не приходило, что я поеду когда-нибудь сюда, в Россию. Мне казалось, что я всё буду там, но я увидел наконец, что Шнейдеру нельзя же было содержать меня, а тут подвернулось дело до того, кажется, важное, что Шнейдер сам заторопил меня ехать и за меня отвечал сюда. Я вот посмотрю, что это такое, и с кем-нибудь посоветуюсь. Может, моя участь совсем переменится, но это всё не то и не главное. Главное в том, что уже переменялась вся моя жизнь.

Я там много оставил, слишком много. Всё исчезло. Я сидел в вагоне и думал: «Теперь я к людям иду; я, может быть, ничего не знаю, но наступила новая жизнь». Я положил исполнить свое дело честно и твердо. С людьми мне будет, может быть, скучно и тяжело. На первый случай я положил быть со всеми вежливым и откровенным; больше от меня ведь никто не потребует. Может быть, и здесь меня сочтут за ребенка, — так пусть! Меня тоже за идиота считают все почему-то, я действительно был так болен когда-то, что тогда и похож был на идиота; но какой же я идиот теперь, когда я сам понимаю, что меня считают за идиота? Я вхожу и думаю: «Вот меня считают за идиота, а я все-таки умный, а они и не догадываются...». У меня часто эта мысль. Когда я в Берлине получил оттуда несколько маленьких писем, которые они уже успели мне написать, то тут только я и понял, как их любил. Очень тяжело получить первое письмо! Как они тосковали, провожая меня! Еще за месяц начали провожать: «*Léon s'en va. Léon s'en va pour toujours!*».¹ Мы каждый вечер собирались по-прежнему у водопада и всё говорили о том, как мы расстанемся. Иногда бывало так же весело, как и прежде; только, расходясь на ночь, они стали крепко и горячо обнимать меня, чего не было прежде. Иные забегали ко мне потихоньку от всех, по одному, для того только, чтоб обнять и поцеловать меня наедине, не при всех. Когда я уже отправлялся на дорогу, все, всю гурьбой, провожали меня до станции. Станция железной дороги была примерно от нашей деревни в версте. Они удерживались, чтобы не плакать, но многие не могли и плакали в голос, особенно девочки. Мы спешили, чтобы не опоздать, но иной вдруг из толпы бросался ко мне среди дороги, обнимал меня своими маленькими ручонками и целовал, только для того и останавливал всю толпу; а мы хоть и спешили, но все останавливались и ждали, пока он простится. Когда я сел в вагон и вагон тронулся, они все мне прокричали «ура!» и долго стояли на месте, пока совсем не ушел вагон. И я тоже смотрел... Послушайте, когда я давеча вошел сюда и посмотрел на ваши милые лица, — я теперь очень всматриваюсь в лица, — и слышал ваши первые слова, то у меня, в первый раз с того времени, стало на душе легко. Я давеча уже подумал, что, может быть, я и впрямь из

¹ «Леон уезжает, Леон уезжает навсегда!» (франц.)